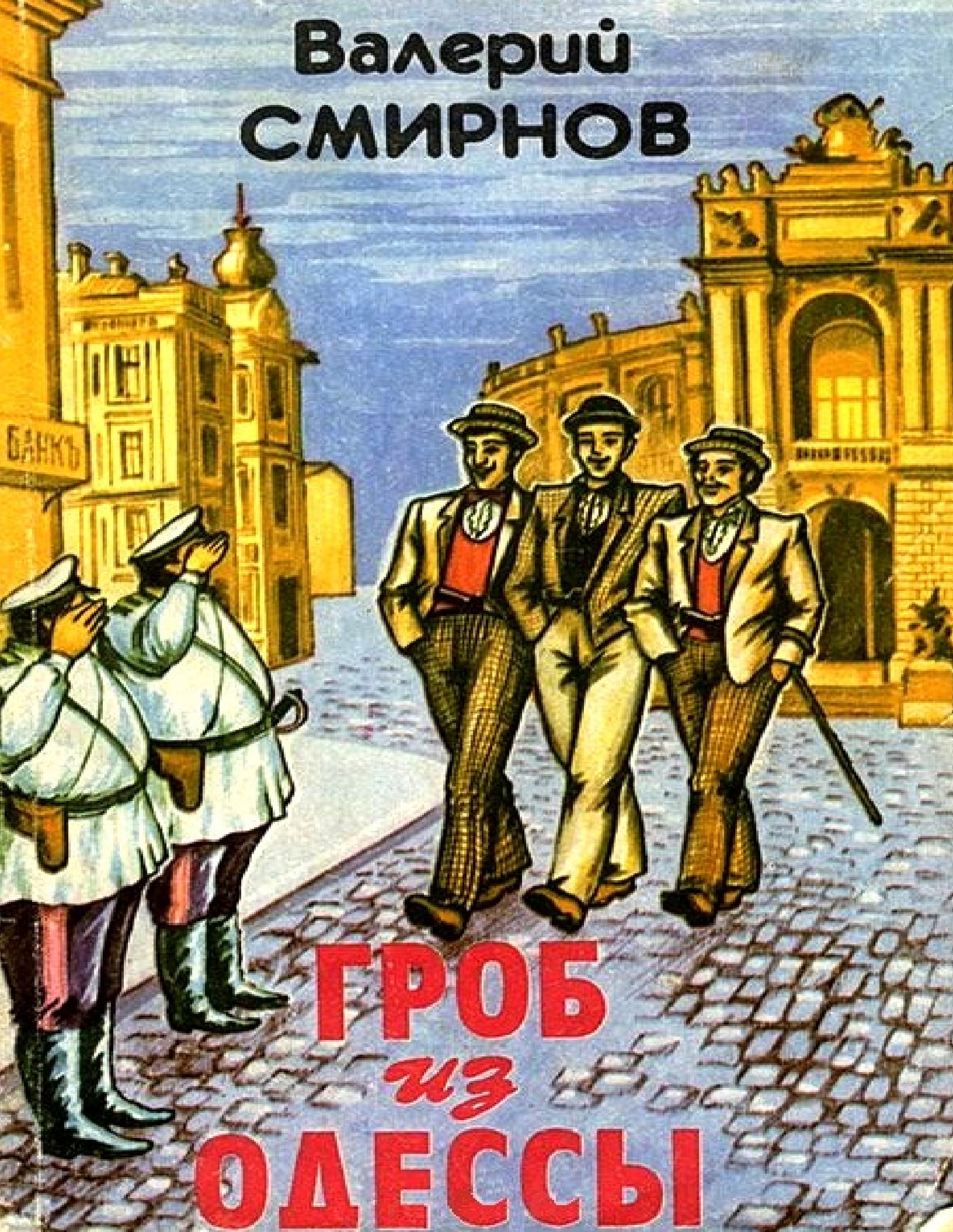


Валерий
СМИРНОВ



ГРОБ
из
ОДЕССЫ

Annotation

Легенды Одессы, рассказы старожилов и скандальные истории. Легендарная старая Одесса, от эпохи порто-франко и Соньки Золотой Ручки, город банкиров и острословов, аристократов и налетчиков, воров, мошенников и негоциантов, — предваряет издатель, — предстает перед слушателем во всем своем блеске и неповторимости в этом криминальном романе на протяжении сотни лет. По мотивам этого романа в 2018 году режиссёром Олегом Туранским снят сериал "Сувенир из Одессы".

- [Валерий Смирнов](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Часть пятая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)

- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)

- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)

- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)

- [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
-

Валерий Смирнов
ГРОБ ИЗ ОДЕССЫ

Часть первая

С такими клёвыми пальцами Колька Цукер^[1] вполне мог родиться пианистом и выучиться на Рихтера. Но вместо того, чтобы барабанить по клавишам в переполненном зале, извлекая из пианино без шума и пыли волшебные звуки и хорошие бабки, Цукер стал швендять по трамваям чаще контролеров. И с каждого маршрута благодаря своим умелым пальцам он снимал столько доходов, с понтом имел фамилию не тише, чем у Шуберта. Получи часть этого заработка одесское трамвайно-троллейбусное управление вполне могло бы соскочить с дотации и заказать по перечислению шикарную рекламу на уровне «Пробил час ОТТУ-У-У». Так наглый Цукер, тащя с вагона хороший куш, в отличие от коллег, занятых легальным ремеслом, даже не думал бросать хоть какую-то долю этому управлению за аренду рабочего места, и поэтому оно тяжёлой гирей висит на городском балансе.

Цукер появлялся в трамвае разодетый не хуже популярного музыканта на банкете, зато не тащил за собой рояль, чтобы исполнить пассажирам любимый с детства романс «На бану^[2] шум и гам, суета, на бану щипачи^[3] промышляли, и почти на глазах у ментов они ловко карманы шмонали^[4]». Хотя после его променада по вагону некоторым пассажирам хотелось валидола с нашатырём, а вовсе не песен, которые строить и жить помогают без копейки денег на кармане.

Жизнь ни разу не щёлкнула Цукера наручниками по носу, оттого он справедливо начал считать себя звездой трамвайной величины и не ронял достоинства, работая с ширмой^[5], а тем более с напарником. И в самом деле, зачем был нужен трамвайщик^[6] Цукеру, если он мог не

только элементарно сработать шмеля^[7] из заднего кармана жирного фраера^[8], но и расписать^[9] лифчик, хотя многие мадамы почему-то уверены: ничего надежнее таких сейфов промышленность ещё не создавала. И чтоб вам вконец понять, что не было лучше Цукера щипачей в нашем городе, бурно производящем не только великих музыкантов, так в своё время Колька выиграл творческий конкурс у виртуоза Москвы Косого.

Косой прибыл в Одессу на гастроль при таком виде, с понтом его фамилия и морда значатся не в ментовских досье, а во всех мировых концертных афишах большими буквами и крупным фасом. Колька ненавязчиво намекнул этому деятелю: некоторые московские фигуры в Одессе еле-еле проканывают за идиотов. И хотя Косому было куда отступать, потому как в Одессе всегда перебор между трамвайными маршрутами и стоящими ворами, он вспомнил, что за ним Москва. И забожился на мочке^[10]: если Цукер докажет своё превосходство, то Косой готов переть из Одессы домой наполеоновскими темпами. Но когда мастерство матушки-столицы окажется выше, пусть Одесса-мама не обижается, и её гость будет на шару кататься по самым выгодным для него рельсам.

Косой не посрамил Москвы. Он, не торопясь, прошёл по вагону, выбранному в качестве ринга соперником и помыл за один заход между передней и задней площадками четыре шмеля из вториков^[11] и верхних потолков^[12], попутно расписав дурку^[13]. Цукер признал за коллегой высокий класс работы, но еле стерпел, что соперник нагло называл шмеля по-московски лопатником^[14]. А потому решил во что бы то ни стало доказать: он уже забыл за методы работы, каких Косой ещё не знает. Причём, без кани^[15] на цырлах^[16], с чего начинает бомбежку даже гезель^[17].

Цукер забился среди переполненного вагона в припадке несуществующей падучей, закатив зрачки до беспредела, но это не помешало ему забомбить несколько шмелей из бланке^[18] приводящих его в чувство пассажиров. И больше того, он сумел сработать башмалу^[19] у одной из сердобольных мадамов, хотя она прятала бабки в такое место, по сравнению с которым лифчик может показаться накладным карманом сверху пальто.

После этого номера посрамлённый Косой слетел с пальмы первенства незрелым кокосом и шпановым брусом^[20] покатился до своей Москвы, где на его долю в равной степени до сих пор хватает лохов^[21] и трамваев. Колька продолжал раскланиваться на остановках с работниками оперативно-поискового отделения, чьи изображения он помнил гораздо лучше собственной тёщи. А менты гребли лопатой поганых торбохватов, бросавших тень на ювелирное искусство подлинного щипача.

Вы можете себе представить концертный зал, среди которого, лабает^[22] бессмертную музыку божественными пальцами гений от клавиши? Наверное, можете, даже если у этом зале вас сроду не бывало. Тогда представляйте дальше: вдруг на сцену вылезит какой-то придурок и начинает лажать^[23] представление, лупя со всей силы своими корявыми мослами по консервной банке. Так разве нормальному меломану не захочется, чтоб у этого солиста стало больше на одну дырку в голове? И хотя Цукер не очень любил ментов, пусть его всего раз заловили для нудностей по профилактике правонарушений, он был доволен, а то, как оперативники вязали штымпов^[24], которым было до фонаря — что сбегать на гоп-стоп^[25], что завалиться кому-то на карман. Причём попытаться наколоть не жирного фраера, а старика или женщину с

ребенком, чего воровская честь категорически запрещает.

Так может и до сего дня Колька героически бы выдержал за наличный расчёт давку у переполненных трамваях, когда судьба наглядно доказала ему, то похоронный марш не всегда исполняется исключительно по желанию заказчика. И если человек чересчур придаёт любви какое-то место среди других эмоций, это может выйти ему боком. Хотя Цукеру это вышло совсем другим местом.

Несмотря на то, что Кольке было под пятьдесят, он постоянно получал в трамваях такой массаж, о котором только догадываются профессиональные спортсмены, а потому сохранил юношескую фигуру в прекрасном, хотя немножко мятом костюме на белоснежной рубахе под галстуком. И кличку Цукер, что означает красивый, получил вовсе не случайно. Может быть поэтому после очень удачного трудового дня одна совсем юная студенточка согласилась поужинать с таким представительным мужчиной, не догадываясь, что даже его шикарные запонки с перстнем и то выполнены в ювелирном стиле «моечка». Во время ужина Цукер вёл себя как и подобает настоящему джентльмену, стремясь во что бы то ни стало так напоить свою даму, чтоб ей скорее размечталось за любовь. И хотя девушка ухитрилась выпить несколько бутылок, она всё равно сумела поведать Кольке, что он в её вкусе. Но при том у студенточки есть один пунктик; хотя она не надеется выйти замуж за Цукера. Ей хочется достаться своему будущему супругу в почти не тронутом виде. Уже в кустах за кабаком, на лоне дикой природы Колька понял, что это означает, когда студенточка встала на колени перед щипачём и его высокими чувствами. Девушка, не торопясь, расстегнула «молнию» на трамвайной спецовке мужчины, вызвавшего у неё такую бурю чувств, и уже через пару минут Колька закатил

глаза не хуже, чем во время трамвайной дуэли с Косым, вцепившись своими музыкальными пальцами в тонкое деревце. А некоторые посетители, выходя из кабака, стали удивляться: чего это в посадке туда-сюда раскачивается всего одно насаждение, хотя ветра нет и тротуар тоже прочно стоит под ногами, несмотря на качество выпитого.

Потом Колька бережно усадил свою новую любовь в такси, договорившись за очередную встречу. И стал ловить фару сам себе, попутно предвкушая ещё одно любовное свидание с этой красавицей, немножко морщась за то, что между ними предстоит побывать дома и увидеть собственную жену. Чем ближе к родной хате волочило щипача такси, тем хуже становилось Колькино настроение после удачного трудового дня. Потому что ему было до барабана — смотреть на собственную жену или фильм за ужасы на производственную тему, вызывающий в желудке противоречивые чувства.

Так когда пришла пора рассчитываться с таксистом, цифры на счетчике тоже не добавили Цукеру хорошего настроения. Тем более, сколько Колька ни шарил в своём заднем кармане, так кроме свежей пыли ни о каких других накоплениях не могло быть и речи. Хотя Цукер немножко и выпил, он вполне трезво стал догадываться, что студенточка, эта целка-невидимка, могла рухнуть перед ним на колени не только ради высоких любовных чувств, но и чтобы запустить слоника^[26]. И после этого ждать её для следующего любовного свидания в назначенном месте можно до полной потери пульса.

Сами понимаете, в каком самочувствии Колька расплатился с таксистом собственными, а не помытыми бочатами «Ориент», и когда он подымался до своей хаты, настроение от этого выше не становилось. Его,

профессионала высокого класса, какая-то сопливая соска^[27] разделала с понтом тухлого фраера, вот и связывайся после такого с несовершеннолетними, воспитанными до того погано, что ни какого уважения к старшим.

Когда народная мудрость говорит: пришла беда — открывай ворота, это о чём-то может предупредить и насторожить даже в собственной хате? Но Цукер до того перепсиховал, что, отпихнув жену в сторону, дорвался до бутылки коньяка, чуть ли не закодировав змейку на брюках. Если бы он вспомнил за народную мудрость, так чёрт с ними, этими воротами и намекающей за любовь теперь уже жену, бывают беды и похуже. Но на свою бедную головку, а не пресловутый бок, Колька стал гнать жене: он до того переутомился на производстве, что за любовь не может быть и речи. А жена продолжает выражать чувства до Цукера с такой нездешней силой, что ему легче согласиться на любовь, чем объяснять ей за скромность поведения у быту.

Быт прёт навстречу желаниям Цукера, потому что летом вечером вода на третьем этаже у центре Одессы, это всё равно как американский трактор без кондиционера — уму не постижимо. Чистоплотный Цукер, вместо по привычке заорать за то, чтоб эта власть сгорела по поводу воды, втихую радуется такому событию. Попутно намекает: любовь для него — это десерт к ванной. И, невольно сравнив жену с аферисткой-студенточкой, добавил про себя — далеко не каждый день и смотря с какой стервой. Так цукерова баба нет, чтоб успокоиться и вместо всяких глупостей помечтать на сон грядущий за повышение производительности труда в своём родном цеху, она берёт и прёт заготовленную ранним утром кастрюлю с водой прямо на плиту. И рассуждает открытым текстом Кольке, что ей для любимого не жалко эти последние

шесть литров воды в доме, которые местами могут заменить ванну. Но Цукер вместо того, чтобы дождаться, когда вода закипит на плите, стал распускать во сне слюни по подушке, наглядно доказывая, до чего он переутомился. И тут его мадам закипела синхронно со своей шестилитровой кастрюлей. Потому что иногда женщина может простить измену, но никогда — пренебрежение до своих бурных чувств. Так что вряд ли Колька запомнил, чего там ему снилось до того момента, когда злобная баба стала мыть его прямо у постели. Многие люди любят парную, и Цукер здесь не исключение. Но не до такой же степени, когда шесть литров кипятка мощным потоком льются не по всему телу, а в одно и то же место.

После такого краткосрочного душа Колька стал прыгать по кровати не ниже спортсмена на батуте. Но при этом в отличие от гимнаста срывал дыхание громкими звуками, хотя держал руки на одном и том же месте, с понтом футболист в «стенке» перед штрафным ударом.

Сексуальная попрошайка от таких упражнений немножко перебздела, а потом стала догадываться, что могла помыть свою обшпаренную половину как-то по-другому и не каждому мужику нравятся яйца вкрутую на собственном теле.

Когда Цукер решился посмотреть, во что превратилось его мужское начало, он не сразу догадался, где это самое начало бывает у конца — до того кастрюля с кипятком изменила все привычные впечатления. И только через час ему по голове ударила нескромная мысль, что всякому началу бывает конец, хотя санитары, волочившие его на носилках в ожоговое отделение, уверяли: всё будет в порядке. Бедному Цукеру оставалось только надеяться на это, несмотря на то, что он догадывался за качество дежурной фразы

насчёт всего хорошего. Её всегда с радостью сообщают своим пациентам врачи, даже если они заодно прикидывают, есть ли в морге свободное место.

Когда стонущего Кольку запихивали у «скорую», радио на всю улицу прокомментировало это событие модной песней «Есть у революции начало, нет у революции конца». Несмотря на такой оптимизм, эта песня вряд ли прибавила настроения Цукеру, сходу примерявшего её слова на свой случай. Да, по ксиве^[28] Цукер был советский человек и вполне мог верить: давнее революции для него ничего не существует. И если конца нет у этой самой революции, так другой может и радовался такому сходству, но Кольке почему-то грустилось.

Хотя Цукер привык шарить по трамваю далеко не травмированным местом, щипачу всё равно хочется поскорее выскочить из больницы с полностью восстановленными функциями из-под ожогов. Так что он проникновенно смотрит в жалостливые и умные, прямо как у дворняги, глаза лечащего врача и гарантирует ему жирнее зарплаты в обмен на полноценную эрекцию. А что может врач, если в институте его больше учили истории партии, чем способам увеличения донельзя красных частей тела? Может только ляпнуть за приложение всех усилий по поднятию с койки больного и всего, чего ему требуется. После таких слов Цукер начинает регулярно расстёгиваться, как бажбан^[29], до такой степени, что его врачу мечтается: вот было бы здорово, если б таких хороших пациентов регулярно поливали кипятком по всему городу.

Так прошло четыре месяца, пока ожиревший лечащий врач не поведал бодрящемуся Цукеру за то, что несмотря на сорокапятипроцентное ожоговое поражение, Колька сможет пользоваться своим членом на целых пятьдесят процентов. Наверняка врач, как и многие советские люди, страдал процентоманией, потому тут же торопливо добавил: и даже на все сто, но только в гальюне [\[30\]](#).

После такого заявления Кольке резко захотелось нежно обнять свою супругу до хруста в позвоночнике. А потом сделать самому себе последний заплыв по Чёрному морю. Потому что, несмотря на свои артистические пальцы, Цукер считал другие органы тоже важными. Так лечащий врач, видя, что его пациент в таком настроении может начать срывать свои чувства прямо у бесплатной, но очень дорогой больницы, на всякий случай накачивает его дефицитными пилюлями против агрессии и депрессии. Попутно рассказывая, что любовь — не самое главное в жизни, тут же добавляя скороговоркой: если это не любовь к нашей великой родине. И вообще, что может быть прекраснее платонических чувств, при полном отсутствии противозачаточных средств?

После таких душевных лекций Цукер немножко успокоился, попутно убедив себя: теперь ни одна сука не пристроит ему слоника даже при большом желании. Выйдя из больницы, Колька сделал всё зависящее, чтобы его мадама выкатилась из хаты у трёхгодичную командировку по приговору суда. А уже за тем Цукер решил приступить до трудовой деятельности.

Однако травма, нанесённая лучшему шипачу Одессы подлой бабой, напомнила о себе в психологическом плане. Стоило Цукеру прижаться в трамвае до какой-то мадам, так вместо чтобы подумать, как ловчее расписать её кишню [\[31\]](#), Кольке тут же

ползли у голову вредные мысли за сексуальное использование выбранного объекта. Несмотря на медитацию и внутренние усилия, Цукер никак не мог перебороть свои дурацкие мысли и его артистические цырлы начинали мелко подрагивать в такт движения трамвая на рельсовых стыках. Так и не заработав ни копейки, Колька бросился до врача продолжать тратить свои сбережения. А что мог предложить ему этот Гиппократ, если действие кипятка надежнее последних достижений медицины? Разве что очередную убойную дозу импортного успокоительного, после которого Цукер застывал на кровати надежнее покойника. Но в отличие от жмура^[32] психическая травма продолжала обуревать его по ночам. В одном из снов щипач видел себя Прометеем, прикованным до скалы. Хотя прилетающий орел терзал своим хищным клювом не печёнку, а совсем другое место, Цукеру всё равно становилось больно и он просыпался, вопя громче будильника. Орла сменяли полуобнажённые гурии, протягивающие ему в исступлении руки с небес. И как отчаянно не лупил конечностями по одеялу спящий Колька, до них он ни разу не допрыгнул. С такими сновидениями состояние пальцев не позволяло даже приблизиться к трамвайной остановке. Цукер снова созрел наложить на себя дрожащие руки, когда лишний раз убедился, что наша передовая медицина может стопроцентно гарантировать только летальные исходы. Поэтому Колька схватился за возможность лечения у народного целителя с многообещающей фамилией Брежнев.

Народным целителем Брежнев сделался в годину тяжких испытаний. Когда фашистская Германия вероломно напала на миролюбивый Советский Союз, лейтенант Брежнев был командиром танка № 56, которого в глаза не видел. Потому что его часть

торчала на переформировании в лесу, куда наши танки не смогли прорваться с железнодорожных платформ благодаря гениальной конструкторской и такой же полководческой мысли. Лейтенант Брежнев понял, что широко разрекламированные в кино танки «Клим Ворошилов» — самое настоящее говно, но вслух не высказывался. Лес уже оказался в глубоком немецком тылу, когда политрук сплотил вокруг себя офицеров и предложил им доблестно застрелиться, чтобы не стать пленными предателями родины. И хотя партийное собрание дружно проголосовало за такую повестку дня, найти хотя бы один пистолет на всех присутствующих тоже оказалось проблемой.

Тогда политрук предложил пробиваться с боями до своих параллельным курсом, так как по его идее и заверениям сталинского политбюро, наши войска уже наверняка долбят немцев на их территории. И доказательство мудрости вождей — полное отсутствие стрелянины в этом районе. Так что танкисты дружно поперлись за политруком, настропавшего компас по направлению Берлина. Через пару дней сухой паек был уничтожен, а лес, как назло, не кончался. И более того, никто не улавливал в звенящей тишине звуки доблестных ударов непобедимой Красной Армии, добивающей фашистского зверя в его логове. Поэтому офицеры сильно удивились, когда на опушке леса им встретились немцы с автоматами наперевес. Сперва безоружные танкисты попытались принять у бывших друзей капитуляцию, но когда немцы не согласились с их предложением повели себя так, будто их с утра до вечера уничтожать врага малой кровью учили резко подымая руки вверх.

Если до сих пор выдающиеся ученые не знают разницы между странами победившего социализма и национал-социализма, думаете, во время войны эти две системы не спорили, какая из них бардачнее? Но при

этом фашисты держались гораздо наглее, с понтом «душегубку» придумали в Германии, а не в Советском Союзе.

Немцы согнали толпу пленных на лужайку, вбили четыре колышка, натянули между них канаты и при помощи словариков объяснили: кто вылезет из такого четырехугольника, будет шиссен. Тысячная толпа просидела в импровизированном лагере целые сутки, а несколько конвоиров всё ждали, когда же подтянутся их тылы. На второй день в лагере на поляне был создан подпольный райком, который постановил устроить побег. Хотя кое-кто и побаивался идти голой грудью на автоматы, немцы тоже не сильно уверенно себя чувствовали. Потому что если здоровых мужиков не кормить пару дней, так они способны и на более решительные подвиги, чем разбегаться в разные стороны. Но тут пришло избавление...

Избавление ехало на велосипеде зигзагами, распространяя вокруг себя иностранные песни и вполне отечественный перегар. Кроме того, оно везло при себе бутылку шнапса за пазухой и нашивки унтер-офицера на расстегнутом кителе. Охранники побежали выяснять, чего им дальше делать с пленными которые клацают зубами не хуже волков, как впрочем, их и характеризовал доктор Геббельс. Унтер-офицер сперва упал с велосипеда, а затем скомандовал разогнать эту толпу, потому что через пару дней войска великого фюрера возьмут Москву, так что войне — капут и нехай русские сами себя кормят, а не сидят на шее у победоносной германской армии, испытывающей временные трудности с закуской.

Обрадовавшиеся такому боевому приказу фрицы посадили унтера на велосипед, разогнали пленных и побежали вслед своим частям, чтобы успеть вместе с ними промаршировать на параде перед Кремлем, где своё присутствие гарантировал их великий вождь.

Оторвавшемуся от коллектива лейтенанту Брежневу не удалось прорваться с кровопролитными боями до своих через окружение и он заделался подпольщиком. Целых полгода он просидел в подполье у одной деревенской вдовы, помогая женщине и по хозяйству исключительно ночами для конспирации. Потом в деревню пришло избавление от захватчиков, а следом за ним легендарный СМЕРШ, перепарившийся от работы. Хотя капитан Георгадзе склонялся к тому, что дезертира Брежнева нужно на всякий случай прислонить до стены, во время допроса бывший подпольщик постоянно выкрикивал «Да здравствует товарищ Сталин — великий сын грузинского народа!». Капитан Георгадзе уже привык до этих рекламных воплей, которые постоянно издавали шпионы и дезертиры перед тем, как получить свинцовую награду родины. Но нестандартная здравница Брежнева до того растрогала капитана, что бывший танкист вместо стенки получил всего по десять лет за каждый день, проведённый в плену на поляне.

Из лагеря бывшему зеку Брежневу посчастливилось выйти своим ходом, а не вперёд ногами, несмотря на постоянную заботу родины. Причём после отсидки Брежнев кидал понты, будто Авиценна был его единоутробным папой.

Всё началось с того, что бывший танкист вспомнил за практические занятия по перевязке. И в зоне Брежнев сумел выздороветь донельзя пораненную ногу одного итальянского шпиона, хотя лагерный врач уже размышлял над курсом лечения при помощи пули у затылок. Брежнев наляпал на рану солагерника болотной грязи, перемешанной с подорожником, паутиной и крупцами пороха. Обматывая ногу переисправляющегося врага народа, почему то ругавшегося на русском, а не итальянским языке, Брежнев громко декламировал идеологически полезные

стихи собственного изготовления «Мы стали крепче стали, родной любимый Сталин...». Кто знает, может эта самая гангрена улетучилась с ноги не только благодаря заклинаниям со светлым именем папы народов, но как бы там ни было через несколько дней итальянский шпион пошкандыбал перевыполнять нормы мирного строительства. А Брежнев сходу скинул, что ему нужно вытворять. Тем более, что настоящие эки-врачи уходили на тот свет ещё раньше гуманитарной интеллигенции. Курсы интенсивного лечения без традиционных причитаний Брежнев не проводил. Только вместо того, чтобы кланчить помощь у тёмных сил природы, врачеватель обращался до поддержки светлого коммунистического будущего даже при лечении геморроя отварами укропа. Начальство не сильно радовалось поведению Брежнева, но против его постоянных рассказов за величие Сталина, Молотова, Кагановича и прочих уважаемых урок не рискнуло попереть. Дело дошло до того, что Брежнев начал торчать у бараке в халате лагерного врача и самостоятельно лепить диагнозы. А этот самый ветеринар, что пользовал больных, пил в два раза больше, чем прежде, справедливо полагая: сколько эков не перемрет, кроме «спасибо» ему никто горбатого слова не скажет.

Выйдя на свободу, Брежнев скумекал, что вольная жизнь сильно отличается от лагерной только отсутствием утренних поверок. И он не стал менять специальности народного целителя при идеологически выверенных шаманствах. И правильно сделал. Потому что, когда Москва спустила указание разогнать сильно расплодившихся народных врачевателей, подрывающих авторитет самой передовой в мире медицины, наш обком обошёл своими действиями исключительно Брежнева. Хотя сам обком предпочитал лечиться

иглоукалываниями у другого целителя Ляо Джая, а не слушать на рабочем месте высказывания Брежнева. Тем не менее, после того, как Ляо Джай закончил бесплатно лечить обком по всей обойме своими серебрянными иголками, его тут же выперли из Одессы, чтобы лишний раз доказать партийную принципиальность. Брежнева не тронули на всякий случай, потому что народный целитель не только сыпал съездовскими цитатами, но и туманно намекал за своих высокопоставленных родственников. Ну и чёрт с ним, решил обком, пусть себе лечит, всё равно хороших лекарств, кроме как у нас, ни в одной аптеке нет. Тем более, что у доктора...

Когда Цукер после трёхнедельного ожидания и постоянных отметок в живой очереди, наконец-то добрался до великого целителя, он сходу убедился — слухи имели под собой хорошую почву. Робко потянув на себя дверь, Цукер тут же получил по ушам громко звучащей песней, рвущейся из кабинета:

«...НАМ СОЛНЦЕ СВОБОДЫ
И ЛЕНИН ВЕЛИКИЙ НАШ ПУТЬ ОЗАРИЛ.
НА ПРАВОЕ ДЕЛО ОН ПОДНЯЛ НАРОДЫ...»

«Чего он там поднял, и что опустил?» — почему-то подумал о своём горе, а не общественном счастье Колька и огляделся.

Народный целитель сидел за письменным столом «Кардинал» в синих нарукавниках, с понтом как у бухгалтера. Обоим комнаты едва просматривались под многочисленными транспарантами, мирно соседствующими с портретами многочисленных вождей. На столе Брежнева лежала клизма с дыркой, ржавый пинцет и остро отточенный скальпель. Возле скальпеля стояла мраморная табличка с надписью «Христос воскрес! Слава КПСС!» и миниатюрная

скульптура Ленина с протянутой рукой над некрологом «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Самый свежий транспарант висел чуть ли не «притык к стулу, на который молча ткнул народный целитель «На 10.000 человек у нас приходится 36,3 врача, в то время как в США — 22,5, во Франции — 15,3, в Великобритании — 16,4 (Из материалов XXVI съезда партии)».

— Здравствуйте, — наконец-то решился Цукер, так и не поняв — то ли в проклятых капстранах люди меньше болеют, или за нами просто наблюдают и под видом медицины.

Брежнев выключил музыку, перевернул песочные часы, блестя «ронсоном», и ответил:

— Где у вас не в порядке?

Сбиваясь с мысли и заикаясь, Колька поведал доктору о своем главном несчастье при дрожащих руках. Народный целитель решительно подтянул нарукавники и бодро поставил диагноз:

— Как отмечалось на последнем партийном съезде, «очень скоро вступят в строй новые поликлиники и больницы, улучшится оснащение учреждений здравоохранения медицинской техникой, инструментами и оборудованием, более полно будут удовлетворяться потребности в лекарственных средствах». Словом, как говорил товарищ Леонид Ильич Брежнев, выступая перед машиностроителями, «Руководящая мобилизующая роль партии — это не отвлеченное понятие. Это — сама жизнь, наша повседневная практика». Эта же великая мысль была подтверждена товарищем Леонидом Ильичом Брежневым во время выступления в городе-герое Киеве 9 мая на открытии мемориала. В частности, он сказал: «Наши помыслы чисты и благородны. Наша мощь велика». Так что вы можете рассчитывать на хороший

конец моего курса лечения. То есть, на хороший конец после моего курса лечения. Потому что ещё Владимир Ильич Ленин заметил: «Без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае». Я сделал такие философские выводы, которые позволят вам вновь встать в строй активных строителей коммунизма.

Хотя Цукер не собирался маршировать в этом строю, он довольно закивал головой.

— Вот, например, недавно ко мне из Москвы привозили ребенка, — продолжал курс лечения Брежнев. — Никто его не смог вылечить, а мне это удалось. Не верите?

— Верю, верю, — задёргал руками Цукер, которому уже начало тошнить от этих речей, потому что он не привык сидеть на партсобраниях.

— А я вижу, что вы мне не верите, — заартачился целитель, — и совершенно напрасно. Потому что, если вы полностью не будете мне доверять — хрен когда у вас встанет. А тот ребенок, между прочим, мне даже письмо с благодарностью прислал. Вот.

Брежнев выхватил из-под мраморной таблички листок бумаги и с удовольствием процитировал:

ЕСЛИ ЧЕЙ-ТО ГЛУПЫЙ СЫН
СКУШАЛ ГРЯЗНЫЙ АПЕЛЬСИН,
УМЕРЕТЬ ЕМУ НЕ ДАСТ
ДЯДЯ БРЕЖНЕВ-ПЕДИАТР^[33].

— Главное, не чтоб рифма, а слова шли от сердца. Ясно?

Цукер снова закивал головой с такой силой, словно от этого зависел результат лечения.

— Вы «Голос Америки» случайно не слушаете?

— Да как вы смеете? — деланно возмутился Цукер, как и все советские люди интересовавшиеся, чего там на самом деле происходит в родной стране.

— Это хорошо. Потому что империалистический мерзкий голос всегда плохо влияет на самочувствие наших людей. Закройте глаза.

Цукер покорно закрыл глаза. Пользуясь временной слепотой пациента, доктор Брежнев вытащил из стола толстую тетрадь и быстро отыскал в ней страницу, озаглавленную «Не стоит».

— Расслабьтесь и слушайте. Мой метод состоит из мани... ману..., словом, вам это будет трудно понять какой терапии вперемешку с народными средствами и последними достижениями партийно-хозяйственной медицины. Расслабьтесь ещё раз, — чуть тише скомандовал Брежнев и начал нараспев читать из тетрадки:

НАС НЕ ПОБИТЬ, НЕ ВЗЯТЬ НАС В ПЛЕН,
НЕ РАСТОПТАТЬ МАРКСИЗМА ГРЯДКИ.
КАК МОЩНЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ЧЛЕН
ТВЕРДЫ ГАРАНТИИ РАЗРЯДКИ.

— Наша страна будет выступать за мир во всем мире, несмотря на противодействие сил империализма. Советский Союз был и будет гарантом свободы социалистических стран, являясь основным членом коллективной безопасности.

ДА, США — ТЮРЬМА НАРОДОВ,
НО НЕ ТРЕВОЖАТ МИР НЕЯСНОСТИ;
СТОИТ ГАРАНТОМ ЗА СВОБОДУ
ЧЛЕН КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

В это время последняя песчинка упала на дно часов.

— Открыть глаза! — рявкнул доктор и Цукер подпрыгнул вместе со стулом. — Вы чувствуете, как вам полегчало?

Хотя Цукер с трудом соображал, он протянул целителю столик. Доктор спрятал купюру под книгу «Материалы XXVI съезда КПСС», лежащую рядом со скальпелем.

— Вот вам рецепт, мною составленный, будете зачитывать перед приёмом лекарства на ночь, — прощался Брежнев, и врубил свою музыку. В комнату проскользнула мадам с толстым задом за собой, и Цукер схавал^[34] про окончание приёма.

Уже выйдя в коридор, Колька сообразил, что доктор не выдал необходимых организму препаратов. Несмотря на громкие протесты очереди, он прикрыл дверь в кабинет. Брежнев, с явным удовольствием цитировал свой лечебник болящей с закрытыми глазами.

БЕСТРЕПЕТНО БОРОЛСЯ ЗА СВОБОДУ
ВЕЛИКИЙ СЫН ЗУЛУССКОГО НАРОДА.
И СЕЛ. НО ПРОДОЛЖАЯ МУЖА ДЕЛО
ПОКА СИДЕЛ. ЖЕНА ЕГО МАНДЕЛА...

— Доктор, я дико извиняюсь, — прервал курс лечения бестактный Цукер, — а лекарство?

Брежнев собственноручно соскочил с врачебного места, всунул в руки пациента пузырек с мутной жидкостью, попутно рявкнув в ухо мадаме:

— Сидеть! Расслабиться!

Выталкивая Цукера грудью за дверь, Брежнев доверительно прошептал ему на ухо:

— Если вы всей душой не вникните и не прочувствуете письменные результаты психоанализа — хрен вам чего поможет...

Народный целитель Брежнев довёл пациента Цукера до нужного настроения. Тем более, что на каждом шагу глаза Цукера спотыкались о не замечаемые ранее транспаранты типа «Экономика должна быть экономной» и «Вперед, к победе коммунизма». Более того, проходя мимо театральной афиши «Живой труп» Колька почему-то решил, что этот спектакль посвящен великому Ленину.

Перед тем, как глотнуть мутной жидкости на сон грядущий, Цукер несмело прочитал медицинское заключение — от «Вставай, проклятьем заклейменный!» до «Конец — всему делу венец». Выпив снадобье, Колька тут же провалился в кровавое марево, среди которого углядел как бы со стороны самого себя. Он сидел в каком-то первобытном лесу, покрытый шерстью и гноящимися глазами и огромным членом, на котором золотом мерцал нагрудный знак «Ударник коммунистического труда». Перед Цукером стонала привязанная к дереву обнаженная девушка, до боли в паху напоминающая студенточку-вафлистку^[35] и жену одновременно.

— Вампир! — заорала девушка, бросила на неодетого полуцукера страшный взгляд и простонала, — Губят нас в родной отчизне ради жизни на земле.

Потом Колька увидел, как из марева к нему выскочил ещё один демон, с великолепными клыками, на которых застыла кровь. Через плечо вампира вилась лента со словами «Под руководством партии — к новым спортивным достижениям».

Лязгая окровавленными клыками, вампир с явным удовольствием поведал Цукеру:

КПСС НЕ ДАСТ И АХНУТЬ
ВРАГУ. ЛЮБЫЕ СЛОМИТ СТЕНЫ.
КОГО УГОДНО МОЖЕТ ТРАХНУТЬ,
КОГДА ИМЕЕТ СТОЛЬКО ЧЛЕНОВ.

— Что ты ждёшь, дед? — продолжил вампир. — Прокуси девке жилу на шее и напейся молодой горячей крови — легче станет.

— Не могу, сынок, — простонал в ответ вампир Колька. — Клыки у меня повыпадали...

— Ладно, дед, — продолжал командовать молодой вампир безо всякого уважения до возраста Цукера и его жизненного опыта. — Разорви когтями её тело — и юная кровь добавит тебе сил.

— Не могу, — чуть ли не заплакал в ответ Колька. — Когти от старости обломались. Благодаря мудрой политике партии и лично дорогого товарища Брежнева.

Вампир-собеседник с жалостью посмотрел на Цукера, словно увидел своё будущее, и тихо спросил:

— Как же ты живёшь, дедушка?

— Вот так и живу, — скулящим от жалости до самого себя поведал сильно волосатый Цукер. — От менструации до менструации...

Тут Колька проснулся, кинул шнифты^[36] на свои пальцы и убедился, что теперь они дрожат даже на ногах. И если не завязать с народным лечением, как и с государственным, так и его вполне можно продолжить у дурдоме благодаря качеству сновидений.

Кто знает, может Цукер и начал бы ходить в жёлтом доме по войлочной комнате с дурными мыслями под волосами по поводу действующего только на половину прибора, если бы до него не вломился старый приятель Лёвка Бык. И пусть у пальцев Быка начисто отсутствовала врожденная гибкость, он умел вскрывать

фраеров не хуже Цукера или народного целителя Брежнева.

В отличие от щипача-ювелира Кольки, его дружок Бык промышлял исключительно по ювелирной части, потому что почти каждый день торговал одно то же золотое кольцо по смешной цене. Стоило кому-то из лохов клюнуть на эту приманку у лавки с аналогичными побрякушками, как Левка с дрожью в голосе гнал пену за срочно заболевшую любимую и полное отсутствие наличных. По натуре Бык относился до своей жены не хуже Цукера, хотя его баба ни разу не будила шестью литрами кипятка. Наверное потому что, в отличие от ошпаренного кореша, Бык лупил её раз в неделю для профилактики семейной жизни. Но лох же об этом не знает. Он видит перед собой не бывшего налётчика Лёвку Быка, сменившего окрас из-за пошатнувшегося здоровья, а перепуганного жизненными обстоятельствами припоцанного^[37] на всю голову, согласного сбросить золотое кольцо по шаровой цене. Покупатель, правда, опасался, из какого металла сделано это рыжьё^[38], но чтобы клиент не дёргал поперёк себя нервы, Бык спокойно протягивал последнее достояние для проверки. И уже через пару минут клиент выскакивал на улицу из магазина с кольцом в руке и устным заключением ювелира насчёт золотого качества этой побрякушки.

Бык спокойно принимал назад свой рыжий запас, я покупатель быстро и судорожно начинал мусолить бабки, опасаясь, как бы Левка не передумал. А зачем Левке передумывать, если он таки-да продает хорошую вещь? Поэтому Бык спокойно пересчитывает деньги и отдает покупателю кольцо, кстати сказать, то же самое, а вовсе не фуфловую^[39] подмену. И надо же такому случиться, что в этот момент мимо них с паровозным ревом пролетает какая-то фигура, попутно

выдирающая кольцо из вспотевшей руки донельзя счастливого лоха. Покупатель синхронно с Быком раскрывают пасти на ширину мостовой Дерибасовской, но от того трусца бегуна медленней не делается. А потом эта пара бросается в погоню, хотя ворюга уже набрал такие темпы, о которых и не мечтал тренер Борзова перед Олимпиадой. И сколько бы раз Левка не бросался с любым из покупателей на это кольцо в погоню за гнусным рвачём, так ни о чём, кроме колотьях в боках, не могло быть и речи. А потом ювелиру из лавки стало интересно: какого хера одно и тоже кольцо проверяют на качество чуть ли не каждый день? И как хорошо не гонял на короткие дистанции Лёвкин напарник, оказалось, что некоторые менты просто загубили на себе стайерские таланты. Но в какой раскрут не посылали быковского подельника на допросах, он не сдал компаньона, хотя менты прекрасно знали за Левкины способности устраивать и более сложные концертно-спортивные мероприятия посреди города.

Оставшись без напарника, Лёвка стал перебирать, кто ещё из корешей не отдыхает от дел на лесоповальных курортах. И хотя он убедился, что многие трамвайные маршруты остались бесхозными, никто в городе не шелестел сенсацию за первый залёт Цукера. В общем, Лёвка, кривя мордой и душой, начинает уговаривать щипача с дрожащими конечностями: есть в жизни кое-что поважнее его прибора, хотя сам Бык не догадывается, что бы было главнее этого дела лично для него. Но строго между нами. Лёвка даже радуется дрожащим пальцам щипача, потому что не будь такой травмы, Колька послал бы его куда подальше своего обваренного места.

— Цукер, ты только вникни своими ушами внимательно, какую полезную вещь я тебе расскажу, — убалтывал его, с понтом, как целку, Бык. — Тебе надо

отвлечь своё внимание на другое дело — и пальцы тут же перестанут тремтеть. И ты снова сможешь быть король у своём деле. А что касается остального гембея^[40] — так рано или поздно это случается у всех. Хотя, строго между нами, рано лучше — дольше привыкаешь. Мало ли у кого где не стоит, так это же ещё не трагедия короля Лира, скажу тебе прямо. Мы сейчас можем закрутить такую маму, от которой не то что пальцы станут твёрдые, как у статуя под Пересыпским мостом, но и твой балдометр^[41] вполне от радости выскочит на двенадцать часов. А если и не выскочит — так чем ты рискуешь, кроме как заработать, что всем трамваям делать нечего? Ты слушай меня, и всё будет, как в аптеке, а она ещё хрен кого вытащила с того света. У меня есть редкая бимба^[42] — гроб, нафаршированный клиентом, у которого крутятся все кости в разные стороны...

После этой фразы Цукер, позабыв за дрожащие пальцы и наполовину годный прибор, стал усиленно вспоминать вампиров из кошмарных снов. Ему на мгновение показалось: из пасти Быка вместо выбитых зубов выскочили и щёлкнули сахарного цвета клыки, подточенные рашпилем. Щипач без гремучей брежневской смеси явственно представил тёмную ночь и вампира — Лёвку на кладбище, выкручивающего кости в полусгнившем гробу. Колька мотнул головой, словно стряхивая наваждение, и Бык принял этот жест отчаяния за согласие щипача.

— Рыжий гроб, — продолжал Левка, трясая указательным пальцем возле носа Цукера, — и пассажир в нём тоже весь из золота... Правда, совсем небольших размеров, но зато сделан не из говна. Антикварная вещь на любителя, чтоб мне с носом быть, затёртый иск Фамильная драгоценность... Ты уже

созрел, Цукер, или тебе надо дать по мозгам, чтобы до них дошло, какое счастье приплыло на твои руки?

Цукеру уже не было чего терять, кроме дрожи в цырлах и ночных вампиров с партийно-генитальными заскоками. Он согласился на предложение Быка главным образом от того, чтоб Лёвка поскорее заткнулся. И Лёвка по-быстрому взял ноги в руки из хаты своего уже подельника, предварительно попросив выяснить дополнительных данных по поводу гроба, передав небольшую сафьяновую коробочку Цукеру. Взяв её в руки. Колька с удовлетворением отметил, что его пальцы почти перестали дрожать.

В сафьяновой коробочке находился миниатюрный золотой саркофаг с аллегорическими изображениями разных этапов человеческой жизни. Внутри саркофага спокойно лежал золотой скелет, не предпринимая никаких попыток сделать пакость Цукеру...

Цукер хорошо догонял, каким макарон можно использовать этот необычный гроб, гораздо хуже он понимал, кто мог запалить такую красоту в виде фамильной быковской драгоценности. Потому что, если бы золотой гроб папа Быка подарил его собственной маме до серебряной свадьбы, вряд ли Левка за это промолчал из скромности. Самому Цукеру светиться тоже не улыбалось. Начни он лазить по Одессе вперемешку с таким сувениром, как тут же менты залюбопытствуют: что за номер трамвая тянет за собой золотые катафалки?

Поэтому Цукер решил впервые в жизни самостоятельно заглянуть у гости до своего соседа. Обычно всё было наоборот — сосед Цукера изредка забегал до его перехватить пару копеек, с понтом Колька богаче отделения Сбербанка. Как и многие воры, Цукер был настолько суеверным, что снабжал бабками соседа по первому требованию, начисто забыв времена, когда тот драл свой нос выше

жлобоградской «клюшки». Потому что он был редактор газеты «Моряк» и торчал в горкоме чаще, чем у парткоме пароходства. Но несмотря на то, что редактор честно пропивал в горкоме всё, чем богаты черноморские рейсы, в свое время он вылетел из этого «Моряка» на ещё не заслуженный отдых.

Как-то на первой странице газеты привычно залыбилась группа передовиков на фоне судна. Постоянно повторяющийся снимок, только с разными мордами, ничего антисоветского. И вообще, кто смотрит на эти фотографии, кроме тех, что пытаются на них узнать сами себя? После этого дела проходит неделя и госбезопасность начинает дергать горком по поводу вражеской вылазки на страницах «Моряка». Потому что группа передовиков уставилась в объектив на фоне судна «Брянский рабочий». Но такое здоровое название хреново влазило в газетную полосу. Так фотокорр-придурок почему-то решил, что морды передовиков политически главнее названия судна и отчекрыжил край фото. И все кому не лень могли шарить глазами по снимку, где наши ударники коммунистического труда стояли на фоне судна «Брянский раб». Так кто, кроме этого самого ЦРУ, мог финансировать такую диверсию? Правильно, фашисты под голубой звездой из государства Израиль вместе с экстремистами блока НАТО. И хотя редактор газеты бегал в горком, как на срачку, каждые полчаса каяться, его коллеги по партии и собутыльники трезво рассудили: своя жопа дороже чьей-то головы. И сколько бы газетчик не распускал сопли по поводу случайностей, так партия всё равно требовала ответа за все преступления и ошибки, кроме собственных. Редактор попытался отмазаться тем, что на стене артиллерийского училища висит транспарант «Наша цель — коммунизм», хотя чего-чего, а со снарядами здесь напряжения нет. Горком ему объяснил, что за ту надпись ответит кто надо, когда поступит

команда. А пока что руководство больше волнуют рабы из Брянска, чем артиллеристы со своими мишенями. Так что редактор вылетел из кресла, а горком, лупя себя в грудь, доказал, как он непримирим и строг до простого недогляда. Потому что рабы — это достояние Древнего Рима или империалистической Америки, но только не нашего самого передового и справедливого строя, на который молятся все угнетенные разных континентов.

После этого случая бывший редактор начал понимать, что жить на пенсию можно не так шикарно, как сам об этом постоянно печатал. Он стал одалживать бабки у своего соседа гораздо регулярнее, чем клепать статейки под разными псевдонимами за всякие исторические мансы, которым трудно пришить идеологическую диверсию, Цукер догонял, что у бывшего редактора с его антикварными статьями остались кое-какие связи, несмотря на то, что после «Брянского раба» его с трудом узнаёт половина знакомых. Поэтому Колька благоразумно решил не светиться, предложив пенсионеру сто рублей и выяснить, кто ковал этот гроб с покойником. Щипач прекрасно понимал: если с золотым саркофагом связано какое-то известное имя, его цена сходу прыгнет вверх, с понтом покойник внутри вылеплен из бриллиантов.

* * *

Бывший редактор гоняет по музеям и архивам с фотографиями этого антикварного скелета в гробу, где в чёрно-белом исполнении хрен догадаешься из какого благородного металла он замастырен. А в этих заведениях работают профессионалы высокого класса, которых чего путного ни спроси — не скажут даже под пытками, потому что сами толком ни хрена не знают. Зато позволяют этому писателю шарить по огромному

количеству полок и папок, где собран толстый слой пыли на архивных данных, лишь бы он не мешал им пить кофе. Хотя редактор идеологически недопонимает, зачем километры стеллажей и тонны бумаг не может заменить компьютер, он честно отработывает цукеровский гонорар, потея и от спёртого воздуха и забадываясь дуть на пыль.

Так если у редактора есть время и деньги постоянно выяснять чего никто не знает, Лёвка с Цукером уже начинают немножко нервничать. Сколько можно сидеть без работы из-за того, что в антикварном деле у нас такие же спецы, как во всём остальном? Цукер, чувствуя, как его пальцы от нетерпения снова добираются до состояния барабанных палочек, освобождает пенсионера от нелегких поисков. Но для настоящего журналиста творческий поиск — всё равно, как коньяк для горкома, пусть даже этот писатель и вышел в тираж. Так что, несмотря на отмену задания, пенсионер величественно объявил Цукеру: он всё равно докопается за эту вещь, потому что допросил далеко не всех специалистов, попутно стрельнув у Кольки гривенник до прихода почтальона.

Если пенсионеру охота гоцать по городу и дальше, Цукер дает ему на гривенник больше и просит не распространяться, где он встречался с золотым гробом. Потому что Колька вслух сильно боится, как бы его не ограбили. Хотя сам про себя посмеивается за судьбу того пидерика, что рискнет заломиться на хату известного вора. И как не хотелось Цукеру идти до Зорика Максимова, он решился на эту экскурсию без санкции Лёвки Быка. Потому что не было в Одессе грамотнее и дороже этого знаменитого в своём кругу человека по кличке Антиквар, который мерял каратами даже камни у мочевоом пузыре.

Антиквар не имел стеллажей, папок и компьютеров, а только голову на плечах и лупу в глазу. Он молча

покрутил гроб без опознавательных клейм, бережно положил его в сафьяновую коробочку и задал Цукеру беспроницательный вопрос:

— Скажите. Сахаров, я имею гонорар за консультацию или процент в деле?

— Всё зависит от того, что несёт за собой эта штука, — неопределённо протянул Цукер.

— Пока эта штука, Сахаров, несёт за собой выигрыш Быка на хате Светки-Рулетки, — продолжать гнуть свою линию Антиквар, — и не больше того.

— У вас, Максимов, стукачи не хуже ментовских, — не сдавался Цукер.

— Ну что вы, Сахаров, гораздо лучше. Поэтому я хочу процент...

— Если вы на проценте, тогда клиент за вами, — неожиданно легко согласился щипач.

— Если даю клиента, тогда я в честной доле, — покачал седой головой Антиквар, — так что выкиньте сомнения за порог этого дома. Вряд ли Бык будет против.

Колька Цукер умел считать и понимал, что половина тяжелее третьей части так же хорошо, как то, что пенсионер с его фраерскими поисками был только отмазкой для успокоения совести перед компаньоном.

— Этот газетный деятель будет рыть Одессу до второго пришествия порто-франко, — сказал Антиквар, не зная пока, что Колька снял с пенсионера чалму по поводу гроба. — Вы уже созрели, Сахаров?

— Я уже созрел. Антиквар. Что вы мне скажите?

— Пока я ничего путного не слышал, — притворился непонимающим Максимов.

— Вы имеете третью долю, — подтвердил Цукер.

— Слово было сказано... — протянул Антиквар, подняв почему-то печальные глаза на Кольку, — Вы хоть понимаете, что это за золото? Не поганая пятьсот восемьдесят третья проба, и даже девяносто шестая —

халоймыс по цене работы. Этот саркофаг делал великий художник, о котором никто не помнит. Все только знают — Фаберже, Фаберже... Да. Фаберже был большой мастер, но потом стал фирмач и имел три представителя у Киве, десять — в Лондоне и двадцать пять — в Одессе. А в тоже время жил в Одессе ювелир, рядом с которым, между нами, Фаберже было бы трудно удержаться. В другой стране такому художнику при жизни поставили бы памятник. Но мы живём здесь и вряд ли дождёмся, как на Чичерина улице ему откроют мемориальную доску, кстати, на эту работу у него ушло почти десять лет жизни — вряд ли у Фаберже хватило терпения и, чего там, мастерства, сделать такой саркофаг со скелетом. Скелет, Сахаров, скелет... Сто шестьдесят семь косточек и каждая свободно двигается. А миниатюрные рисунки на саркофаге — это же вам не говно собачье семь на восемь под названием «Сормовские рабочие накануне стачки», за которое дают Госпремию. И, между прочим, Сахаров, это величайшее произведение ювелирного искусства было создано по заказу самого Гохмана...

— Антиквар, я дико извиняюсь, — нетактично перебил мемуары Максимова Цукер, — но кто не знал старого Моню Гохмана, который ещё до войны прославился, сняв наганы у конвоя...

— Это не тот Гохман, — по праву старшего оборвал слово Кольки Антиквар. — Даже тебе нечего делать рядом с ним. Хотя в своё время Гохман фраернулся. Но это было, когда папа твоего Моньки Гохмана ещё не делал на него сметы. Тогда Одесса оставалась немножко той самой Одессой, о которой ты имеешь смутное представление. Разве в те годы здесь можно было кого-то удивить рыжим гробом даже по натуре?

Часть вторая

То было золотое время Одессы. Местные дамы буквально не давали прохода обосновавшемуся в городе бывшему куаферу Марии-Антуанетты Леонарду. И собирался отплыть на гастроли в Константинополь знаменитый одесский скрипач Консоло. Спешил в школу Моранди преподавать искусство живописи тогда ещё жандарм Вилье де Лиль-Адан, а посреди кипящей от жары Кривой улицы читал древний французский список чудаковатый нищий книголюб Зимин, который вполне мог бы послужить прообразом цвейговского Менделя-букиниста. Невнятно бормоча что-то под нос, шёл в лавку Нового базара уника-самоучка блистательный математик Штейн. В Хрустальном дворце обитали портовые рабочие, шулера, студенты, проститутки, спившиеся журналисты, взятые под покровительство самым удивительным в мире ростовщиком Мойшей. Он часто ссужал их деньгами в рост, но зато никогда не требовал отдачи долгов.

В погребке Коре раздавались песни Беранже, а на бульваре астроном Карассо давал всем желающим посмотреть в свою подзорную трубу. Греческая буквально пропахла запахом апельсин, регулярно доставляемых из Барселоны, Яффы, Смирны, Мессины, неподалеку чуть ли не круглосуточно работала лавка Джузеппе Марчиани, снабжавшего небогатых горожан итальянскими колбасами, жирными анчоусами, пармезаном и миланским коровьим маслом. Публика посостоятельнее шла в рестораны Бродской, Дофине, Лателе, Железнова и Оттона, который в свое время постоянно спорил с тем самым Гоголем о качестве мясных блюд. Мимо известных на весь город малохольных Александра Македонского и Яника

Вшивого спешил директор городского театра барон Рено, а в это время градоначальник Казначеев тщетно пытался разыскать сигнальную пушку с бульвара. Меланхолично ожидали клиентов бородатые извозчики на штайгерах, прикуривая сигары от ассигнаций, и величественно возвышались над городом здания, построенные лучшими архитекторами мира.

Преображенский кафедральный собор. Успенский и Михайловский монастыри, Римско-католический костел, Лютеранская, Евангелическо-Реформаторская, Греческая Свято-Троицкая церкви, Бродская синагога, Караимская кенасса. Магометанская молельня — далеко не полный перечень храмов, дававших возможность одесситам регулярно пообщаться со Всевышним.

* * *

Бой часов башни Пашкова на Молдаванке. Весело перекликались колокола, отлитые из пушек, взятых у турок под Варной, и купцы безоговорочно соглашались со всеми условиями разгрузки кораблей — так много было негоциантов, стремившихся в Одессу. А неподалеку от порта дарили повод для безудержного веселья усатые джентльмены из Одесского Британского Атлетического клуба, игравшие в до сих пор невиданный Россией футбол.

Вот в этот полумиллионный город, известный на весь мир своими художниками, служивший тогда Европе образцом благоустройства, приехал из двухсоттысячного Киева Израэль Рахумовский. Уроженец крохотного Мозыря, старший сын Нохума Рахумовского, закончивший хедеру по настоянию отца, разбил семейные мечты насчёт карьеры Израэла в качестве ребе. Ювелир-самоучка выбрался в Киев, но не

нашёл там мастера, который бы мог научить его больше, чем Рахумовский уже умел. Поэтому Израэль приехал в город, который тогда называли «Столицей юга», «Южной Пальмирой», «Маленьким Парижем», даже «Столицей мира», и поселился на Успенской улице в доме номер 36.

Пока Рахумовский набивал руку и глаз по части высокого ювелирного искусства в чужих мастерских до поздней ночи, старик Гохман торчал у кафе Фанкони гораздо не меньше. Он только изредка мог себе позволить выскочить со своего рабочего места до близлежащего кабака Робина, чтобы закончить какую-то сделку. Старик Гохман потихоньку маклеровал чем приплывет у руки и даже не мечтал о размахах Ашкинази. Забегая до хаты, Гохман старался влететь в свою комнату так по-быстрому, чтоб в упор не увидеть любимую жену и пару наследников. Жену Гохман терпел и так и сяк, потому что эта иногда тихая женщина позволяла ему экономить на кухарке, горничной и лакее, а что касается сыновей, то старик Гохман смотрел на них с понтом, как на собственные долговые расписки, являющиеся для каждого маклера неизбежным злом. Гохман падал поперёк шикарной двуспальной кровати, на которую он, кроме себя, никого не пускал, и устало закрывал глаза, твёрдо зная: его Лея сделает всё, чтобы они быстренько раскрылись на ширину бумажника.

— Лейба! — тихо орала она в ухо Гохмана, уставшего от трудовых свершений по продаже двадцати пяти фунтов ванили, перемешанной с крахмалом, и старик делал вид, будто вконец оглох. Потому что прекрасно знал каких просьб будет дальше.

— Ты, вшивый йотер лепетутник^[43], — нежно ворковала Лея, — дети хотят немножко кушать. Давай гроши...

— Ой, вэй, в их годы я уже кормил семья, — начинал врать сам себе Гохман, потому что этим словам давно не верила, — а, твои дети... Два здоровых шибеника^[44], не считая аппетит их момула — это чересчур для одной моя больной цавар^[45]. Вы все просто хотите сделать мне гэтеркэф лев миокорда... Лея, ты ж купила свежий фиш^[46] неделя назад... Может твои гоныфы^[47] хочут ликэр мидэ хумус, а? А ацирут^[48] их не нападёт? Но чего не сделаешь заради родная кровь... На десять копеек, купи им картошки и селедка, болячка тебе на рош^[49]...

И вот с таким калорийным питанием молодые Гохманы вымахали не ниже портовых амбалов. Но несмотря на свои размеры, им почему-то не захотелось тягать мешки с баркасов на свежем морском воздухе. Потому что братья стремились поддержать трудовую династию Гохманов и торговать всё подряд, особенно что плохо лежит. Так флаг им в руки по такому поводу, если в Одессе больше лавок, чем волос на жопе у двух братьевьев вместе. И уже через пару месяцев, как Лея перестала просить десять копеек на детей у донельзя довольного этим старика Гохмана, его наследники гоняли по Одессе на лихаче, разодетые из венского магазина Шмидта по последней парижской моде. А на мордах этих Гохманов было такое смурное^[50] выражение, с понтом они немножко переплатили за контрольный пакет акций хлебной торговли, перехваченный у некого барона Ротшильда.

Но братьям Гохманам по натуре нет дела до этого Ротшильда и его дешёвых дел, потому что они спешат на встречу с Гарькой Брауном, который своим поведением доказывал: Одесса способна родить не только Дардендейла, Сиднея Рейли и других будущих звезд английской разведки, мотавших нервы у партии Ленина-Сталина, но и деятелей гораздо вреднее.

Когда до человека приходит горе, так Браун с Гохманами делают все, чтобы оно показалось мелочью. Так случилось и с управляющим шоколадной фабрикой Лаверье. Он сидел у своем кабинете и сидел по поводу упавшего сбыта продукции. Эта фабрика выпускала всего тридцать восемь сортов шоколада, когда конкуренты, объединившись между собой, выбрасывают на рынок до пятидесяти сортов. Дела у Лаверье обстояли так погано, что даже кондитерская «Бон-бон де Варсовьен» перестала интересоваться его продукцией у шёлковых коробках. Лаверье вместо того, чтобы вызвонить до себя парторга предприятия и провести собрание по поводу улучшения обслуживания населения, элементарно выписал из Франции через Константинополь новейшую машину для производства этого продукта. Но уже в те годы промышленный шпионаж был на такой высоте, что Гарька Браун раньше Лаверье узнал: оборудование для шоколадной фабрики сгрузили на Таможенной. Так разве Гохманы допустят, чтобы проклятый капиталист продолжал набивать мешки золотом, скармливая одесситам вредный продукт, от которого бывает диабет и портятся зубы? Или они не патриоты своего города, над которым ещё не маячит призрак припортового завода? Браун припирается до Лаверье и начинает размахивать руками по поводу закупки оптовой партии товара для голодающих у Северо-Американских Штатах, а братья Гохман прут на Таможенную, где заводят беседы с биндюжниками из Тирасполя, жадно поглощающими местное итальянское вино после ударной разгрузки своих телег. Оборванные биндюжники сходу обрадовались, когда два муркета, одетые не хуже их градоначальника, предложили немножко заработать и гигантскую сумму в размере четвертного билета.

Гохманы важно объяснили молдаванам, что стоящая неподалеку железяка — та самая радость, которую

ждет в Тирасполе их компаньон, суча ногами от нетерпения. И если господа биндюжники захватят с собой попутный груз, благодарность одесситов в виде двадцатипятирублевки не будет иметь пределов. Так разве Одесса раньше не была привязана до Тираспольского уезда, и как не согласиться с таким выгодным предложением?

Биндюжники по-быстрому грузят французский импорт на телегу, а городской за три рубля делает вид, будто всю дорогу интересуется санитарным состоянием морской волны. Но стоило этому каравану заскрипеть домой, как братовья в канотье вспомнили за то, что их могут надурить. Гохманы намекают молдаванам — они их ни разу не знают и тем не менее доверили такой ценный груз. А вдруг биндюжники не оправдают высокого доверия и сплавят товар где-то по дороге? Поэтому Гохманы предлагают вариант. Машина стоит сто пятьдесят рублей, нехай экспедитор биндюжников выдает эту кругленькую сумму, а коммерсанты Гохманы уже пишут записку своему тираспольскому компаньону, выдать подателям железяки сто пятьдесят рублей и еще двадцать пять за качественное обслуживание груза во время транспортировки. Биндюжники меняют записку на бабки и спокойно едут за город аж до самой таможни. Примерно в это же время Гарька Браун выкатывается из кабинета Лаверье, опуская его настроение ещё ниже фразой за закупку шоколада у конкурентов. Но тут же посыльный, терпеливо ждавший своего черед у приемной, просит управляющего фабрикой забрать своё добро с Таможенной площади. Лаверье перестал надрывать собственный характер по поводу несчастий и погнал вместе с угнетаемыми им работягами на Таможенную. Так сколько бы они не бегали среди неё вокруг товаров поперёк недружелюбных воплей, шоколадного оборудования от этого ни на копейку не прибавилось.

* * *

В то время, когда Гохманы вместе с Брауном перлись в бордель-гостиницу Мишки Красавчика на Нежинской, а Лаверье посылал портового боцмана Ставраки на государственном языке межнационального общения дальше маяцкой стенки и мамы Бени с Колонтаевской, биндюжники спокойно добрались до таможни.

Во время царизма таможня давала «добро» не так быстро и дорого, как сегодня. Тем более, что на груз не было товарно-транспортной накладной, банковской справки о стопроцентной предоплате, лицензии на вывоз, бумаги об оплате пошлины и прочих формальностей. И хотя биндюжники размахивали гохмановской индульгенцией с таким видом, будто это было совнаркомовское постановление по поводу национализации, таможня не принимала их рассказ всерьёз. В конце концов груз был арестован и чтобы биндюжникам не было обидно, таможенники бесплатно отлупили их с такой силой, что жители тираспольского уезда резко стали плакать не по навсегда потерянным бумажным ассигнациям, а совсем по другому поводу.

Когда у сердобольных таможенников устали ноги с руками, служивые не начали пугать гостей города Колымой и Сахалином, а проявили великодушие. Они отпустили биндюжников до хаты, предварительно оставив им на мелкие расходы целый рубль из конфискованных средств этой транспортной бригады. Биндюжники погрузили друг друга на телеги и с тех пор никто не видел этот обоз в благословенном городе Одессе.

Спустя некоторое время Лаверье чуть ли не целовал корпус своего нового приобретения, поя бдительных таможенников и примазавшуюся полицию ромом от шоколадных конфет. Выкинув устаревшее за последние десять лет оборудование, Лаверье быстро стал наступать на пятки конкурентов — до того французская железяка оказалась последним словом науки и техники. И хотя самого Лаверье уже нет на этом свете, а его потомков — в нашем городе, эта импортная машина такая полезная, что до сих пор вкалывает на фабрике имени Розы Люксембург. Правда не на полную мощность, но не из-за процента износа, а по поводу хронического отсутствия необходимого сырья.

Как-то Гарька Браун от чересчур хорошей жизни ухитрился самостоятельно отмочить такой канкант^[51], после которого у полиции заломило поясницы собирать стреляные гильзы Браун тем временем отсиживался в одном из притонов Молдаванки, не выпуская из рук браунинг даже у сортире, куда зачастил по поводу расстроенных чувств. Несмотря на то, что братья Гохманы предлагали кое-кому среднегодовую выручку кинотеатра «Арс», полиция продолжала волноваться по поводу недоразумения между профсоюзом мясников и гарькиными нервами.

Если у папы-Гохмана детей с другой судьбой могло быть с большим трудом, так старый Браун — совсем другое дело. И Гарька родился не от безвестного бухого пиндоса, а в порядочной одесской семье, которая постоянно околачивалась в Английском клубе. Но Гарька ведёт себя так, с понтом его мама не шмонается по благотворительным мероприятиям народного общества «Трезвость», а лакает водку перед обслуживанием биндюжников под портовым забором в Армянском переулке. И будто его папаша не жрёт из

венецианских бокалов французское шампанское «Редерер» за покером, а дегустирует двенадцатую кружку пельзеньского пива перед мордобоем у «Гамбринусе» Или молодому Брауну не хватало на мелкие расходы от таких живых родителей, что он потребовал с мясников двадцать пять копеек с каждого пуда товара в виде налога за радость жизни при целом теле?

Если бы Браун стрельнул у кого-то руку или ногу, мало ли мелких травм бывает на производстве? Так надо же случиться, чтобы Браун, паля почти в упор, не промахнулся мимо сердца Лазаря Дворкина. И Дальницкая улица тут же посадила полицию на голодный паёк по поводу того, что одним Лазарем взбесившийся Гарька не ограничился. Можно подумать было запаadlo, как в наши дни, платить за охрану и полиции, и Гарьке, увеличив стоимость пуда товара на пусть даже царские, но всё равно паршивые двадцать пять копеек. И разве вся валюта мира, а не какой-то поганый рублёвый брауновский запрос, стоит тех слез, что пролила Дальницкая, идя за гробами Лазаря Дворкина, Ивана Балашова, Пинсаха Дер-Азриленко и даже Митьки Голого, который не был мясником, а просто случайно высунул свою любопытную голову через браму под пулю? Так, между прочим, ту пулю посылала из окна своей хаты прямо у Гарьку мадам Лазарус, которой не понравилась скорострельность Брауна. Ну в самом деле, зачем из всех сил палить у пожилого человека под окном с какого-то шумного браунинга, если ему хочется не слушать этой какофонии, а продолжать молиться? Но мадам Лазарус до гарькиного фарта и митькиного несчастья была уже у том возрасте, когда мушку тяжелого для бабушкиных рук карабина трудно совмещать с прицельной планкой из-за поганого освещения событий. Так что Голому на личном опыте пришлось убедиться: излишнее

любопытство может-таки плохо сказаться на собственном здоровье. Причем всё произошло так быстро, что Митька не успел ни с кем поделиться внезапно приобретённым опытом.

Хотя мадам Лазарус тяжело топала в траурной процессии по Дальницкой и легко лила слезы скорби, она скромно молчала за то, что сделала всё возможное, дабы бездельник Голый составил компанию трудолюбивым мясникам.

Но от того, что в Митьку случайно попала старушка, а не специально Гарька, Брауну не легче. Потому что когда гробовщику начинают максать ^[52] за усиленную работу, все понимают — явного перебора в таком деле не бывает. И полиции пришлось признать: четыре гроба после короткой вечерней беседы — это чересчур даже для Одессы.

Вот поэтому Гарька по возможности желудка тихо кантовался на малине, а не доказывал всем подряд о своей непричастности до судьбы Голого. Так если Браун хочет жить и дышать воздухом, разве полиция имеет желание существовать как-то по-другому, чем привыкла? Даже городской Тищенко перестал прикидываться дурачком, когда дальницкие мясники вместо ежемесячной пайки выдали ему распространённый жест с двух рук. И веско заявили при этом: пока они не выпьют за упокой души Брауна, нехай Тищенко получает свой доппаек с государя-императора, потому что продолжать платить за такую охрану, после которой сплошные расходы на поминки, может только малохолный миллиардер Ньюма Лотыш, у которого есть целых десять тысяч в банке «Чай Шустова» и дауновская болезнь на морде.

В те далекие времена правоохранные органы были тоже не такие отсталые, чтобы вкалывать за одну зарплату. И у городского Тищенко хватило мозга

догнать, что всё-таки легче добиться шарового пуда мяса с Дальницкой, чем лишнего фунта от государя с его императорскими понтами. Поэтому Тищенко от ажиотажа дергаёт свой шнурок на шее, до которого привязан служебный револьвер, бегаёт по поводу гнусного Гарьки, чтобы скорее восторжествовало правосудие и вновь получать пайку до жалованья. Но хотя городской с закидонами разогнал глаза до беспредела, нарушителя спокойствия в упор не видел, пусть даже дисконтер Хлава Аглицкий инкогнито намекнул из тюремной камеры, где может околачиваться его конкурент Браун.

Городской Тищенко понимал, чем рискует. Молдаванка иногда запускала у своё сердце всякое смитте^[53], но за то, чтобы у её владениях нагло шемонался какой-то флик или городской в гордом одиночестве, не могло быть и речи. Полицейский-таки долго рассуждал чего обойдётся дешевле: остаться без куша с Дальницкой или всё-таки переть рогами на Молдаванку, где набитая морда в пиковом случае прокапывает большим счастьем из-за других возможных последствий. Тищенко в конце концов сфоловал сам себя, что состоит на государственной службе и, менжуйсь^[54], рискнул попереть на Мясоедовскую. Конечно, можно было сбегать по начальству и разнудать звякало^[55] за нычку убийцы Брауна. Тогда полиция нырнула бы в Молдаванку таким общегородским составом, что даже объединенные силы всех налётчиков вряд ли воспрепятствовали усиленному шмону в собственных владениях. Но что будет, если зуб за два шнифта^[56] Хлава прогнал туфту из-за решетки ради жменьки кокаина, который Тищенко сам жрать не любил, но регулярно припрятывал на карман во время шухеров по притонам? Ничего хорошего, потому что в случае залёта руководство будет уверено: Тищенко ещё

больше придурок, чем есть на самом деле. Чтобы не допустить урона профессиональной репутации, городской самостоятельно рискнул появиться на Мясоедовской улице, прижимая до ноги саблю и немножко бздя за дальнейшую судьбу.

Так если Пишоновской командует Слон Хаим Бабашиха, на Госпитальной — Ржепишевский по кличке Федя Камбала, неужели Мясоедовская может существовать беспризорно и обойтись без руководителя? Тем более такого, как Мотя Городенко, который любит психовать по всяких пустяков. И разве Мотя Городенко допустит, чтобы среди его улицы, отбрасывающей полиции честную пайку, борзо^[57] кидала косяки^[58] по хазам какая-то посторонняя на хуторе стебанутая тварь у белом кителе и синих штанах при сабле? Мясоедовская платила исправно и поэтому загалчившиеся^[59] ребята Городенко, руководствуясь чувством высокой справедливости за собственные гроши, взяли в оборот кнацающего буркалами^[60] легавого, сунувшего свое поганое рыло там, где башляли совсем другим.

Благородные налетчики даже не стали трюмить^[61] беззащитного полицейского, принявшего при их виде цвет собственного кителя. Деловые брякнули городовому, что его масть на их хуторе не капает и профилактически дали всего одну пачку^[62] этому фудале^[63] по наглой сурле^[64]. Ребята даже оставили при Тищенко его казенную саблю. Но почему-то забрали служебный наган со шнурком и чтобы кобура не оставалась пустой, предложили зажавшему очко^[65] Тищенко собственноручно набить её свежим говном из-под биндюгов, мирно жевавших сено во дворе. Городовой Тищенко, пока ребята не перенервничали, набивал свою кобуру до упора с такой тщательностью, с

понтон пихал у неё грязное бандитское золото, а не экологически чистое удобрение.

Потом полицейский слинял^[66] по-быстрому, радуясь если не фонарю на ряшке, так уцелевшим бейцалами^[67] тому, что его гнилой заход проканал^[68] мимо Валиховского переулка^[69] и участка номер три^[70]. А ради такого фарта вполне можно бегать даже с дерьмом в хавале^[71], не то что в пустой коже^[72] с-под волыны^[73].

И пусть Тищенко потянул локш^[74], а его кобура мокла после этого у керосине несколько суток, городской зашлифовал уши^[75] руководству: он лично всё проверил и на Мясоедовской Браун в упор не ливеруется^[76]. Потому что от соколиного, хотя и подбитого шнифта Тищенко не отмажится даже комар с Куяльника, не то, что более крупномасштабный кровопийца Браун. Так, несмотря на это скромное заявление и борзую стойку, начальство посылает Тищенко с его залепухой^[77] куда подальше, чем Дальницкая улица и даёт ему по рылу чуть сильнее Мясоедовской. А потом это самое начальство начинает возбухать и читать ботанику^[78] всем остальным нижним чинам за взаимосвязь судьбы Брауна с их собственными. Потому что, в отличие от городских, их руководство привыкло жрать с лучшего гастрономического магазина Дубинина и ему плевать, какие там копейки варятся на окраинах города.

Тем же временем, брательники Гохманы выдали вконец обнищавшему по поводу нрава улицы мясников Тищенко пару копеек за информацию и конспиративно перевезли Гарьку из Молдаванских трущоб на фешенебельную Решельевскую. Несмотря на массовую облаву, Мясоедовская ничем не могла помочь полиции, искавшей исключительно Брауна, не обращая внимания на беглых варнаков и прочее мирное население. А

хабло^[79] Гарька всерьёз подумал за прощание с Одессой-мамой, хотя к тому времени вольному городу не грозила полу-родная интервенция перед большевистской оккупацией.

Братья Гохманы безо всяких драк решили между собой: их бывший компаньон просто обязан увезти вместе с собой какую-то память за Одессу-маму, не считая персонального браунинга. И решили сделать своему корешу сувенирный презент в виде компактной золотой вещицы, которую можно тянуть через границу верхом на собственном пальце, а не на большой тачке позади пяток.

Что это был за перстень, вы себе не представите. Потому что на такое высокое искусство нужно только шариться своими собственными шнифтами. Братья Гохманы увидели перстень и сходу поняли, те украшения, которыми торгует лучшая лавка Богатырева на Дерibasовской улице, перед этим перстнем смотрятся дешёвым монистом на шее базарной торговли по сравнению с бриллиантовым ошейником мадам Маразли. Хотя само это маразлиевское кольцо возле перстня прокапывает не больше, чем за грубую кузнечную работу. И четверть смирновской водки, выставленная Гофманами родным братьям — абортнику^[80] Павлу Павлюченко и абортмахеру Абраше Молочнику за знакомство с ювелиром не больше, чем символическая плата.

Израэль Рахумовский подрабатывал у ювелирной мастерской Белова, именно там он запалил заказ Гохманов — перстень с оскалившимся грифоном. И уже через две недели после того, как мастер Рахумовский получил первый приличный гонорар в своей жизни, пасмурной ночью фелюга шкипера Христо Андронати привычно взяла на свой борт контрабанду. На этот раз в виде будущего защитника колониальных интересов

Великобритании, видного политического и общественного деятеля сэра Гарольда Брауна...

Несмотря на то, что семейный клан Гохманов умело торговал французскими машинами, кипрским вином, а особенно человеческими страстями, так при большом желании эта пара могла всучить клиенту свежую черноморскую волну и затхлый катакомбный воздух. Но после встречи с Рахумовским братья с ходу поняли — это золотая жила, что попадается два раза в жизни: первый и последний. Одно дело, если ты сегодня что-то воруюшь, завтра перепродаешь, а даст Бог дожить до послезавтра, когда выпадает шара сделать налёт — так его упускать тоже сплошной грех. Совсем другая масть стать почтенным коммерсантом, торгующим старинные вещи любителям искусства. Правда, для этого придётся наблатькаться всяких специальных терминов, но чего не сделаешь ради гешефта^[81] и блага потребителей.

У ювелира Белова тоже были кое-какие виды на своего подмастерья Рахумовского, и Гохманы культурно объяснили почтенному мастеру: несмотря на то, что их лучшего друга Брауна полиция так и не нашла, Одесса всё равно нередко сорит трупами по своим улицам. И балабуз^[82] Белов сделал вид, будто почти не имеет заказов, а чем там станет заниматься у его мастерской Рахумовский, так в это он вовсе не собирается засовывать свой шнобель^[83], даже без монокля на шнифте.

Братья открывают дело по торговле самым настоящим антиквариатом, несмотря на то, что Одесса рассматривает на них, с понтом эти жулики малохольнее крючконосого Шуры Македонского или придурковатого Яника с паршивой бороденкой на вшивой головенке. Потому что при таком наличии торговых домов, готовых предложить людям всякого ювелирного искусства, два жлоба Гохмана — чистый

перебор. Но братья, как назло, потеют у новом для себя деле, и изредка до них в руки попадают уникальные вещи, заставляющие коллекционеров выворачивать наизнанку карманы и банковские счета. Одесса постепенно перестает злословить над братьями, а эти самые собиратели начинают пачковаться у их офисе, минуя лавки Арзуняна, Назарова, Вайсмана, Кадырова, Гринблата, Лотяну, Пауэрса, Харченко, Маркони и даже солидной фирмы, сколоченной много лет назад Ксавье с его компанией из Польской улицы на Греческой площади.

Так разве эти самые собиратели догоняют, кто именно лепит из золота всякие цикавые^[84] штучки, когда Гохманы засекретили Рахумовского не хуже капитана Немо, завалив хорошо оплачиваемыми заказами на всю оставшуюся жизнь, нехай мастер и проживет сто двадцать лет. Израэль Рахумовский даже не представлял, для каких целей создает своих шедевров. И тот самый гроб со скелетом он исполнил после того, как старший Гохман сделал долгосрочный заказ на юбилей своего жмеринского кореша-профессора.

Если у старшего брата есть кореш-ученый, можно подумать, у младшего какие-то проблемы по части профессуры. Особенно когда учесть, как цокает языком от изумления профессор Новороссийского университета искусствовед Лазурский на его хате от вида некоторых штучек Рахумовского. Так младший брат тоже любит делать золотые подарки своим друзьям на именинки. И командует Израэлю, чтобы тот поскорее замастырил своими маленькими, но очень умелыми руками, большую золотую корону его липшему дружяке. Хотя этот гохмановский приятель живет не в Одессе, так ему всё равно хочется сделать приятное. И если именинник пройдет в безделушке от Гохмана по Сумской улице,

так весь Харьков двинется мозгом от того, какой прекрасный друг есть в Одессе у этого профессора.

Когда Рахумовский сочинил корону, от вида которой даже у старшего Гохмана зашевелился сувенирный скелет в гробу на кармане, младший тут же отстегнул Израэлю тысячу восемьсот тех ещё денег наличными. И не сообщил за покупку у налоговую инспекцию, чтобы империя пошарила, на что богат карман неизвестного ей ювелира Рахумовского. А потом Гохман без характеристик с места работы и прочего пуда бумаг при километре вымотанных нервов прётся с золотой короной из Одессы совсем в другую сторону от Харькова. Совершенно бесплатно таможня не задает ему дурной вопрос: собирается ли этот деятель толкнуть своё золотое антикварное изделие за доллары в Варшавском уезде, чтобы отовариться на местном рынке по дороге домой говнучей гонконгской косметикой?

Гохман спокойно дует себе у Германию чи в Австрию, а может Венгрию, или как там оно тогда называлось, где прёт в местный музей с короной наперевес.

И торгует этой исторической ценностью, которую надыбали крестьяне из села Парутино, копая огород. Эти самые немецкие австро-венгры легко глотают наживку, потому что Парутино стоит прямо на месте бывшей Ольвии и там ежегодно раскапывают разных кладов все, кому ни лень. Тем более, что международные эксперты надрывают хавальники за древнюю подлинность скифского золота за пазухой Гохмана. Музейщики уже созрели выхватить драгоценность, когда Гохман открыл свою пасть по поводу её цены. Иностранцы с ходу поняли, чтобы удовлетворить запросы одессита, им нужно продать весь свой музей. А кому, скажите, нужен музей с всего одним-единственным экспонатом, пусть он даже

редчайшая золотая корона? Так что Гохман поворачивается задом до хранителей культурных святынь и прёт рогом в объятия частного капитала. Потому что когда государство разводит руками по любому, а особенно денежному поводу, у него всегда найдётся гражданин, способный действовать должным образом. И если сегодня у мало-мальских серьёзных людей, несмотря на государственные подножки, западные каналы всё равно действуют, так что тогда говорить за вчера?

Гохман, как честный бизнесмен, доботался со своими зарубежными поделщиками за производство древнего ювелирного искусства, обозначив минимальную цену — тридцать тысяч франков. А всё, что антиквары сгребут с клиента выше этой себестоимости, делится пополам. Антиквары дали слово и Гохман вернулся до Одессы с одним чемоданом в руке, а не как нынешние туристы.

Через пару месяцев этот самый уважаемый антиквар сидит себе спокойно на открытой веранде Робина и жрёт пирожное «Норд» под чашку кофе, попутно листая газету. И натывается на сообщение, после которого ему резко расхотелось продолжать чавкать «Нордом», а сожрать вместо сладкого пирожного горькой пилюли, лежащей в кармане жилетки «пике» у небольшой деревянной коробочке с медной табличкой «Склад медицинских товаров Адольфа Гермса. Одесса». Потому что газета всю расписывает эту золотую корону, обзывая её древним словом тиара. И подробно рассказывает Гохману, что он и без печатного слова прекрасно знает: тонкая ювелирная работа, три фризы. На нижней — фрагменты веселой жизни древних скифов, на верхней — сюжеты из той самой «Илиады», над которой потел Гомер. А между ними — изображение городской крепостной стены с древнегреческой надписью «Царю великому и

непобедимому Сайтафарну. Совет и народ ольвиополитов». Хрен его знает, был этот Сайтафарн великим и непобедимым, как Чапаев, или тоже плохо плавал, но народ со своими советами и в те далекие времена не умел обходиться без комплиментов в адрес представителей номенклатуры.

Словом, напиши Рахумовский на короне за сельсовет Парутино, все бы поняли, какое это говыдло^[85]. А так любому козлу и даже специалисту ясно — вполне антикварная вещь. Но Гохман поднял геволт по другому поводу. И не потому, что эту цацку выкупил какой-то там задрипанный музеишко Лувр. А от того, что французы выложили за тиару двести тысяч франков, но кореша-антиквары за это почему-то промолчали.

Гохман вполне бы пережил, если гнусные иностранцы попытались вогнать ему перо в бок, чтобы самостоятельно командовать реализацией сайтафарновой шапки. Но выставить делового одессита одновременно тухлым фраером, глухим форшмаком^[86], коцаным^[87] лохом и дешевой лярвой^[88] — этого он простить не мог. У взбесившегося, как слон Ямбо, Гохмана стали чесаться на подельников-ворюг руки, с понтом мандавошки регулярно скачут и по ним.

Старший брат мягко советует постоянно хватяющемуся за финку и револьвер антиквару взять нервы у руки, пусть они и сильно чешутся. И не делать из себя Дубровского с его бандитскими ухватками, так как младший Гохман уже не в том возрасте, когда револьверная пуля кажется лучшим аргументом в споре. Потому что сколько не стреляй у шантрапу, наскочившую на гохмановский карман, денег от этого не прибавится ни на копейку, что доказала судьба ГАРЬКИ Брауна.

Так пока весь Париж бегал до своего Лувра, чтоб собственноручно ощупать шнифтами его новое приобретение, адвокат Гохмана притаскался в иностранный суд и с его помощью на чистом немецком произношении доказал местным фармазонщикам: они не так хорошо наварили на доверчивом русском Гохмане, как радуются. Потому что половину франков эти антиквары-сквалыги выложили очень быстро, с понтом им рассудил это сделать не какой-то государственный судья в переполненном зале, а сама Соня Золотая Ручка на их собственной хате. Так кроме куша выручки, с этих иностранных мудаков ещё и скачали штраф. И их банковский сейф стал напоминать последствия визита лучшего медвежатника^[89] Европы одессита Нельсона, а вовсе не элементарного приговора суда.

Но Гохман дошёл до такого запала, что всё равно продолжал нервничать, несмотря на возросший банковский счёт, поведав кое-кому за этих антикваров; они не столько великие специалисты, как тухлые фраера. И продолжал наносить их профессиональному уровню и налаженному бизнесу такой урон, будто эти оштрафованные барыги^[90] торговали не за границей, а поставили свой лоток поперёк дверей гохмановской лавки.

Так если язык приводит аж до Киева, неужели он не способен довести и до другой беды? В лавке Гохмана крутятся солидные люди, которым надо интересных антикварных приобретений, как и прежде. Так если раньше Гохман умело убалтывал клиентов, объясняясь с ними языком и пальцами, как и положено коренному одесситу, на их родных русском, немецком, еврейском, французском, украинском, польском, армянском и прочих сорока наречиях, то теперь Гохмана можно узнать с большим трудом. Не предлагая коллекционеру

даже элементарного кофе, он беспрестанно лакает водку и вместо того, чтобы вперемешку с его родной речью рассказывать за интересующий пациента золотой бимбар^[91], гонит на местном диалекте всяких интимных подробностей про бывших компаньонов. И, хихикая, доказывает мало употребляемыми его клиентами словами: всучить сраное фуфло этим мокрожопым пидарам еще легче, чем два пальца обоссать.

А учитывая, что контакт с иностранными антикварами Гохман наладил не вчера, так он даже называл, какого говна вместо подлинников насовал этим жлобам с деревянными мордами, задумавшим обокрасть жулика, на котором, в отличие от той короны, пробы ставить негде.

Так бывшим гохмановским поделщикам такое развитие событий вовсе не нравится. Потому что суд засветил только их элементарную жадность, что в общем-то многие не чересчур осуждают, потому что сами такие. Другое дело, когда в одном из центров деловой Европы постоянно скавчит за их умственные способности и профессиональные навыки Гохман, разгоняя старую и потенциальную клиентуру так надежно, с понтом из его рта вылетают не плохие слова, а хорошие куски дерьма. Начался международный скандал по второму разу. Антиквары приложили все усилия и немножко денег, чтобы бывший компаньон не сильно центрово чувствовал себя в родном городе. А что такое, если Гохман забыл поговорку «Не трожь говно — оно вонять не будет», так можно подумать за граница не в состоянии помочь. И теперь уже до местного зала суда затащили самого Гохмана. Коллекционер Суручан поведал, каким фуфлом торгует этот деятель, а директор одесского археологического музея фон Штерн добавил кучу

свидетельских показаний явно не в пользу семейного клана Гохман.

После справедливого приговора суда Гохман заплатил столько, что родись глухонемым — это обошлось бы дешевле. Вдобавок братские пути разошлись; Гохман-старший вернулся до своих прежних дел, а меньший, сильно переживая от тяжелого материального положения, занялся подделками исключительно из серебра. Потому что личностью золотых дел мастера Рахумовского заинтересовалась полиция по просьбе обдуренных французов.

Израэль Рахумовский подтвердил, что изготовил эту тиару. А французы всё равно не верят, что их корона — не Фонтан^[92] и есть на свете ювелир, способный до такого мастерства. Тем более, что все великие эксперты, словно сговорившись, лупили себя кулаками по пенсне и продолжали доказывать с пеной на губах — корона самый настоящий подлинник. Так выходит, они долбаки, которые не могут отнюхать фуфель, за что тогда руководство дает им звания при хорошей зарплате? Правительство Франции понимает, при такой громкой фразе из Одессы, Лувр может прикупать за хорошие бабки не только сомнительные короны, но и холсты не ценнее портянок. Потому что в своё время в их Лувр заломился германский специалист Фуртвенглер, обмацал^[93] тиару с ног до головы и брякнул: на её изображениях есть пару ошибок, которых античный мастер не мог допустить при большом желании. Так французы вместо того, чтобы раскрыть глаза на нехорошее сообщение, сделали вид, будто Фуртвенглер объявил им войну раньше своего кайзера с каской на голове. И заявили, что этот бош просто лопается от зависти, потому как корона уплыла от берегов Рейна в верховья Сены, И нет в мире современного мастера, способного на такую подделку.

А тут какой-то штымп из Одессы начинает мочить репутацию великих учёных перед правительством. И вдобавок газета «Матен» публикует письмо ещё одного одесского ювелира, который перебазировался в Париж. И этот мастер гонит со страниц прессы, что лично видел, как Рахумовский лепил тиару из золота, даже не догадываясь, чего с ней будет дальше. Ну в самом деле, откуда Израэлю Рахумовскому знать, что Гохман начнёт торговать этой короной, а не нацепит её на кумпол своего харьковского дружка-профессора, перед тем, как тот начнёт дуть на свечи, торчащие из именинного пирога?

Французскому правительству не легче, что харьковчанин остался без такой шикарной шапки между ушей, и тиара продолжает сиять у Лувре при сомнительных разговорах по поводу её качества. Создается специальная правительственная комиссия, чтобы выяснить: тиара Сайтафарна подлинник или всё-таки Одесса не снижает темпов по производству разнообразных талантов? Хотя Рахумовский прибыл в Париж под псевдонимом, дотошливые французы под руководством профессора Сорбонны, члена французской Академии наук Клермона Ганно мурыжили его два месяца своими нудностями.

Сперва французы смотрели на одесского самородка с таким же недоверием, как представитель их Национального банка, когда Муся Буханенко заявила ему, что фирменный сейф «Штраубе» распахнет ей свои объятия ровно через семь с половиной минут после того, как она возьмётся за его дверцу.

Так если Муся сумела доказать своё мастерство даже на сорок секунд раньше, другой одесский талант Рахумовский по-новому корону за пару часов не слепит, пусть знаменитый Клермон Ганно и не требует этого делать. Он незатейливо хочет каких-то доказательств хотя Рахумовский нанимался делать корону для

Гохмана, а не подрабатывать у французской прокуратуре.

Чтобы вся Академия наук перестала нервничать и дёргать Ганно за его мантию по поводу главной экспертизы, одесский ювелир решил доказать, в своём деле он не меньший спец, чем Муся по части сейфов.

И Израэль Рахумовский доказал: кроме него эту тиару для царя Сайтафарна заказать было некому. Ювелир-самоучка не только потыкал пальцем в книжки «Русские древности в памятниках искусства», «Атлас в картинах к «Всемирной истории», откуда срисовал сюжеты на тиару, но даже изготовил её часть. Правительственная комиссия была вынуждена признать, что их эксперты вполне могли допустить ошибку без падения авторитета, столкнувшись с таким гением. Тиару перетаскали в луврский раздел подделок и французы заявили на весь мир: нет в нём мастера-ювелира, равного Рахумовскому. И предложили художнику остаться в Париже за хорошие бабки на условиях, которые вроде бы и не могли мечтаться у ювелирной мастерской Белова. Смешные люди. Это же был конец девятнадцатого, а не двадцатого века. Тогда Одесса занимала в Российской империи первое место по уровню жизни так же уверенно, как сегодня — по онкологическим заболеваниям на том же шмате территории. Зачем Рахумовскому большой Париж, если он привык жить в маленьком, но более красивом и богатом.

Как и все те, кто остался верен Одессе, отказавшись от мирового признания, которого добились под чужим небом наши эмигрировавшие земляки, Израэль Рахумовский умер в неизвестности. Он похоронен под бензоколонкой между Черноморской и Среднефонтанскими дорогами... До наших дней сохранилось всего два творения великого мастера. Одно из них по-прежнему украшает Лувр. Что касается

второго, то судьба его оказалась чересчур лихой для музейных историй.

Часть третья

Великое ювелирное произведение Рахумовского появилось на свет Божий, когда до Одессы докатились последствия нудностей Керенского. Город начинал медленно, но громко двигаться мозгами и все, кому ни лень, занимались саморекламой, лишь бы не сделать чего-нибудь путного. По Одессе шныряли пустопорожные грузовики со взаимоисключающими рекламами на бортах «Отдавайте голоса социал-демократам», «Вся власть — Советам», «Голосуйте за список «Земля и воля»», «Хай живе вільна, самостійна Україна!», «Ваши проблемы — заботы меньшевиков»... Типографии перестали обращать внимание до книжной продукции и перешли на выпуск листовок. Одессу заваливали разнообразными прокламациями так же надёжно, как чуть раньше колониальными товарами, и рекламу с воззваниями подбирали даже те, кто привык читать прессу исключительно задним проходом.

Вместо «Пупсика» Одесса распевала самый модный шлягер.

СВИЦЕТ, СВИЦЕТ ПАРОВИК,
ЗАЛИЛАСЯ ПТИЧКА.
МОЙ МИЛЁНОК БОЛЬШЕВИК,
А Я МЕНЬШЕВИЧКА.

НЕСМОТЯ НА ВСЕ СВОБОДЫ,
ТРИ С ПОЛТИННОЙ ЯЙЦА.
ЧТО-ТО НЫНЕ ВСЕ НАРОДЫ
САМООПРЕДЕЛЯЮТСЯ.

Так пока эти самые народы, толком ничего не догоняя, вместо дела стали заниматься самоопределениями, блатные тут же скикикали, что для них наступили золотые времена, хотя для улучшения порядка, кроме полиции, в Одессе стала вкалывать и милиция. Несмотря на такое усиление исполнительной власти, цены резко пёрли вверх, а в связи с темпами инфляции на гоп-стопы стали бегать даже в перерывах между игрой в железку или очко.

Одним тихим вечером возле Привоза, в хате напротив Шалашной синагоги спокойно себе шла катка терц и когда Моня Голова кинул на стол битую карту и последние бабки, желание играть у него не пропало. Моня не стал канючить за реванш под честное слово и выскочил на пару минут до улицы, надвинув потуже на уши шикарное кепи. К фарту Головы по тротуару канала резвым шагом какая-то жирная гагара^[94] у гордом одиночестве, сильно прижимая до шубы муфту. Голова без второго слова обнял мадам за кадык и несмотря на холодную погоду стал намекать, что ей жарко в такой шикарной шкуре, а тем более — ботинках. Хотя барышня ещё недавно бегала до гимназии Илиади, она сходу врубилась, что во времена самоопределения народов получить вилы в бок из-за меховой тряпки гораздо проще, чем понять, когда закончится весь этот бардак. И поэтому лишний раз не рыпалась, пока Монька обвешался её манатками с понтом побывал на весенней распродаже товаров фирмы Трусова. Потом Голова бросил на свою пациентку нежный взгляд и спросил:

— Шё вы имеете сказать дяде?

— Спасибо, — мгновенно выпалила дама босиком, клацая зубами от температуры воздуха и мысли, что такой решительный джентльмен вполне может снять с неё ещё кое-что и поставить в нужную позу.

Так Голове разные фривольности плохо лезут у мозги. Потому что, сколько можно работать, когда пора бежать до хазы и ловить свой фарт в игру очко. Моня кинул глаз на гаманчик мадам и увидел там, кроме денег, рыжий сувенир в виде гроба, сильно обрадовался и приказал этой барышне:

— Шё стоишь, с понтом тухлый мумий, давай целуй!

Мадама осторожно коснулась пухлыми губками небритой щеки Головы и он в ужасе заорал:

— И эта туда же, целоваться лезет! Вот блядей^[95] развелось! Караул, опять мене ссильничать хочут!

И по-быстрому почапал до хазы поставить на кон муфту поперёк шубы с лакированными колесами^[96]. Стоило Голове смыться из виду, как мадам заорала «Милиция!» с такой силой, будто её не просто выставили^[97] на пару шмуток и рыжий сувенир, а зарезали наповал. На эти вопли откуда-то прискакал вчерашний студент с повязкой «милиция» на рукаве. Студент, расправив грудь, с интересом ощупал глазами высоко вздымающиеся от холода и волнения буфера мадам, которая жаловалась ему на Моньку. Милицционер тут же перестал представлять себе, что растёт у мадамочки под корсетом, заорал «Городовой!» и убежал в противоположную сторону.

Хотя городской Тищенко и слышал этот призыв до боевых действий, он не спешил вытаскиваться из-за угла. Потому что давно понял, сколько не борись за справедливость, кроме набитой морды о другой благодарности не может быть и речи. Если не считать пули в живот. И пока Одесса лопается от разнообразных призывов — нехай каждый защищает себя, как способен. Тем более, что начальство послало Тищенко не разбираться с гоп-стопами, а следить за мирной забастовкой пролетариата, которую организовал студент Кангун на хлебопекарне собственного папаши.

Мадамочка, выдурившая за три унции снежка^[98] золотой гроб у подломившего банковский гохмановский сейф шнифера^[99] Жорки Резника, дала себе слово больше не выходить на двор без нагана в запасной муфте. А Монька Голова вернул от её шмуток свою фортуна, сильно выиграв, и от радости презентовал этот самый золотой гроб лично Михаилу Винницкому. Принимая бимбу. Винницкий заметил, что теперь Моня имеет право шмонять Привозную улицу без предварительной лицензии. И свистнул своим ребятам, чтобы подавали его персональную пролётку. Михаил Винницкий в этот вечер решил посетить премьеру у театре и его телохранитель Сеня Вол, переложив револьвер в специальный карман фрака, вдел в петлицу символ революции — алую гвоздику.

Гвоздики круглогодично поставляла до хаты Винницкого Бугаевка, набившая руку на разведении всякой цветочной фауны, так же сердито, как Молдаванка — на налётах.

— Где мы едем? — поинтересовался у Вола театрал Винницкий.

— Мы едем у театр «Улыбка», Миша, — разъяснил репертуар Вол.

— А вы уже взяли билеты? — на всякий случай спросил Винницкий, сильно боясь не попасть на представление.

Вол виновато смотрел у пол.

— Сеня, вы мене не ответили, — поправляя бабочку на горле, заметил Винницкий.

— Понимаете, Миша, я не имею денег карбованцы. А билеты сегодня торгуют только за их. Потому что теперь Одессой командует какая-то Центральная Рада из Киева, хотя Советы кричат, что они тоже самые главные, — сделал политинформацию отставшему от жизни Мише Вол.

— Так кто всё-таки сегодня хозяин в Одессе? — так и не понял сообщения Вола Винницкий.

— Конечно вы, Миша. Хотел бы я видеть того, кто в этом сомневается.

— А чего же имеют хотеть среди здесь они?

— Мне кажется, они сами не знают. Советы умеют орать только слова на букву «Д» — «Долой!» и «Даешь!». А эта Рада переписывает городские вывески на украинский язык.

— И что теперь будет? — задумался Винницкий.

— Теперь, когда мы налетим на банк брать иди знай какие деньги, нам вместо «Хорошо» там скажут «Добре». Потому что эта Центральная Рада выступает, чтобы во всех учреждениях говорили на украинском языке. Но как мне брякнули верные люди, очень скоро Советы начнут делать этой Раде вырванные годы.

— Мне бы их заботы, — вздохнул Винницкий. — Поехали отдыхать.

По притихшим улицам Одессы шемонались патрули обеих властей — гайдамаки в папах с голубыми верхами и матросы, перемотанные пулеметными лентами. Бригада^[100] Винницкого не обращала внимания ни на тех, ни на других, а сам Михаил наслаждался свежим воздухом с лёгким запахом мороза и, откинувшись на мягкое сидение штейгера, курил александрийскую самокрутку с золотистой надписью на мундштуке.

Когда сорок налётчиков вошли до фойе театра, контролер тут же снял фуражку с серебряным околышем, прижал её до сильно застучавшего сердца, изображая вид с понтом эти господа поголовно имеют билеты в лучшие ложи.

Бригада Винницкого расселась, где ей удобно, а в центральной ложе развалились, закинув нога на ногу в

белоснежных «шимми», Михаил Винницкий, Семен Вол и Мотя Городенко.

Винницкий так и не увидел начала представления. Он достал из жилетного кармана золотой гроб и поигрался с двигающимися костями скелета.

— Клёвый [\[101\]](#) талисман! — показал Моте свою новую игрушку Винницкий, — потянет за собой фарт, как морская волна пену до берега. Или нет?

В это время переполненный зал взорвался смехом и Винницкий бросил свой глаз с гроба до сцены. Артист в клетчатом костюме держал над головой плакат с текстом «Підпихач залятого брехунця».

— Уважаемая публика. — надрывался клетчатый, — сейчас мы проверим ваши знания. Кто может перевести эту надпись?

Знаменитых лингвистов у зале не наблюдалось, поэтому артист развернул свой транспарант и публика прочитала перевод «Помощник присяжного поверенного».

— Мотя, — опять обратился до Городенко Винницкий, — вы умеете играть на музыке?

— Я играю на всём, Миша, — скромно ответил за свои способности Мотя.

— И даже на скрипке? — въедливо влетел у беседу театралов Сеня Вол, рассматривая на сцену, по которой скакал длинногривый музыкант со смычком.

— Не, на скрипке не могу, — чистосердечно признался Мотя, — она зараза, такая маленькая, что с неё всю дорогу карты падают.

Музыкант на сцене начал терзать уши зала непонятными звуками.

— Если кота тянуть за яйца, он будет орать не противнее, — сделал заключение о творчестве композитора Винницкий, — Мотя, мне надоело этих штук. Работайте, Мотя.

Через несколько минут вместо артиста со скрипка сцене стоял Мотя с шабером^[102], делая заявление при помощи револьвера.

— Уважаемые дамы и фраера! Сейчас мои ассистенты, которых в этом цирке больше, чем волос на жопе, обойдут вас. Они имеют собрать немножко средств у благотворительность. Прошу резко не дергаться руками. У всех нас было тяжёлое детство, а на улице непонятная и потому нервная атмосфера. И не надо делать из себе вид, что рыжье на лапе может заменить дырка в голове. Прошу также поприветствовать находящегося лично на этом балете короля Молдаванки Михаила Винницкого. Он самостоятельно сделает вам ручкой прямо из вон той лоханки с бархатом поперёк деревянного парапета.

Михаил Винницкий лениво поднялся и взмахнул рукой с бриллиантовым перстнем из ложки не ниже, чем Ленин своей кепкой с броневика.

Между рядов прошелестели налётчики с огромными подносами. Неработающая часть бригады Винницкого ощупывала оцепеневший зал дулами стволов. Что касается норковых шуб и прочих меховых излишеств буржуазии, то их вытаскали из гардероба ещё до начала этого представления.

Когда Сеня Вол подбил бабки театрального вечера и доложил о размере выручки Винницкому, тот сходу допетрял, что золотой гроб со скелетом таки-да приносит исключительный фарт.

* * *

Ровно через неделю после того, как Соня Золотая Ручка умудрилась сделать семь налетов за один день, а в зоологическом саду подход шакал, в Одессе

установилась Советская власть. Советы первым делом похоронили восставшего против родного папы большевика Кангуна, героически погибшего в перестрелке с гайдамаками, а потом наглядно стали доказывать Одессе, они тоже умеют по-быстрому делать из людей главные приложения до анатомического театра. Прошло немножко времени и большевики начали шмонать город с таким знанием дела, что эта учёность сходу не понравилась Винницкому. Король Молдаванки быстро догнал: если свежая власть со своими закидонами по конфискации продержится хотя бы год — все налетчики останутся без работы. До своего фарта Советская власть не нарвалась на характер Винницкого и стала перемерять город, вычисляя, на какие квадратные метры он богат. Винницкий немножко успокоился и первым делом скомандовал экспроприировать у большевиков золотые излишки, изъятые на раздувание пламени революции в мировом масштабе и собственных нужд.

Спачковавшиеся у одесского Центробанка налётчики не стали тыкать в нос охранявшим его красногвардейцам мандаты, которые при новой власти плодились ещё быстрее вшей. Они сделали всё гораздо интереснее.

Солдаты революции быстро привыкли до того, что жизнь у городе превратилась в сплошной праздник ударного труда гробокопателей. И горожане, если сами не идут вперёд ногами, чаще всего гуляют среди улиц в похоронных процессиях. Красногвардейцы не сильно удивились, когда вдоль банка пёрла толпа с шикарным гробом под духовой оркестр. И одна дамочка объяснила командиру охраны за четыре золотых десятки, что умершего директора банка собираются отпевать по месту его основной работы.

Гроб затащили у помещение и священнослужитель, небрежно взмахнув револьвером, скомандовал начать

траурную церемонию. Из гроба живо выскочил покойный директор банка Шпицбауэр, перемотанный пулеметными лентами с понтом революционный матрос, хотя и в бабочке на горле. В руках покойника был уверенно зажат пулемет «гочкис», который тут же начал выдавать красногвардейцам кадухис на живот^[103] и прочие свинцовые неприятности. А безутешная вдова под густой вуалью стала наглядно доказывать, что она умеет не только ломать на себе руки во время скорбного шествия на воздухе, но и фирменные сейфы «Штраубе» под крышей. Банковские служащие не вмешивались в разногласия между красногвардейцами и людьми в трауре. Они уже привыкли, что в банке вытворяют все, кому не лень, спокойно легли на пол и стали ждать, когда кто-то скомандует; уже можно подыматься и назад работать.

Обратным ходом покойный директор банка ехал в обнимку со своим пулеметом у пролетке, потому что его место в гробу занимали совсем другие украшения. И хотя Советская власть догнала, кто устроил такие шикарные похороны, она справедливо рассудила — соваться на Молдаванку будет ещё дороже, чем дополнительно перетрусить Одессу. Потому что победить солдат Винницкого — это вам не разогнать гайдамаков Центральной Рады. Одно дело, когда человек берется за оружие по призыву, совсем другое, если он с детства знает, что другой судьбы вряд ли может быть, а потому гораздо лучше обращается с финкой и кастетом, чем ножом с вилкой, и при этом стреляет на звук, с понтом до нагана привязан снайперский прицел. А таких людей у Винницкого — всего десять тысяч, поэтому легче сделать вид, что этого явления с гробом при пулеметчике в природе не существовало.

Тем более, что соваться на Молдаванку не советовал знаток местных дел комиссар Тищенко. О подвигах этого доблестного солдата революции шли непечатные рассказы. Оказывается, раньше Тищенко был подпольщиком и по заданию партии носил на себе личину полицейского. Именно такая конспирация помогла ему у своё время спасти коминтерновца Брауна, который доставлял нелегальную «Искру» у Одессу по заданию самого Ленина. Тищенко с важным видом перемерял в центре города излишки жилплощади и старательно подтверждал слухи за своё героическое прошлое. И если такой человек не советовал идти в поход на Молдаванку, это о чём-то таки-да могло сказать. Тем более, что Тищенко давил понт со страшной силой, будто лично командовал «Авроре» палить иди знай куда. При том держался сурово и немногословно, а вовсе не пел свои мемуары за Мясоедовскую улицу: «А мене по морде били, морду в жопу превратили. У мене наган забрали, в кобуру мене насрали». Так что Молдаванка могла спокойно спать после налётов.

Но однажды ночью этот вполне мирный сон был прерван грохотом канонады и такой пальбой, словно вся Одесса в пять минут решила перевести свой боезапас.

— Сеня, что за базар? Он мене отвлекает, — поведал Винницкий Волу, не прекращая вертеть в тонких артистических пальцах золотой гроб.

— Кажется кому-то большевики стали поперёк горла, — коротко ответил Сеня.

— Жалко. При таких уродах работать — одно удовольствие, — вздохнул Винницкий. — Так кто теперь начнёт делать из себя вид хозяина моего города?

— Надо будет утром посмотреть, — на мгновение задумался Вол и тут же добавил: — Впрочем, Миша, какая среди здесь разница?

— В том и понт, что никакой, — откровенно зевнул Винницкий.

* * *

Ранним весенним утром сын бывшего хозяина бань на Военном спуске Жорка Гуссиди сбегал до Греческого базара за знаменитыми бубликами «семитати», которые, несмотря на постоянный бардак в городе, продолжал выпекать Каттаров. Каттарову было легче, чем старому Гуссиди, ровно в два раза. Потому что его пекарню, в отличие от бань, не успели национализировать, а во-вторых, в эти цикавые времена людей больше интересовало кинуть в рот лишний бублик, чем помыться. Тем более, что на Пересыпи назло всем властям продолжала работать мельница Вайнштейна, гоня до моря отработанную горячую воду, в которой на шару плескались все желающие.

Жора купил связку «семитати» и сообщил Сене Волу, что теперь в Одессе в ходу другие новые деньги с изображением Богдана Хмельницкого. На что Вол меланхолично заметил: это не самое главное в жизни, лишь бы японцы продолжали печатать остро интересующие Одессу иены.

Так за японцев в Одессе и не было речи. Потому что в город вошли австро-немцы, которых в своё время надурил один из Гохманов, и притаскали за собой очередных представителей киевской власти. На этот раз у Киве стал командовать гетман Скоропадский и его полицаи у жупанах попытались установить в Одессе очередной новый порядок. А что делала каждая следующая власть в городе? Она требовала кричать за себе «ура» и сдавать оружие. Хотя урякнуть нашлось желающих, но даже они не захотели отдать на шару

боезапас, купленный на собственные средства. И пусть по улицам города шемонался полицай Тищенко, который раньше своими действиями по заданию куренного дискредитировал большевистскую банду, ему никто ни разу не отдал даже поломанную швайку^[104].

Если немцев с австрияками и их киевских друзей сильно интересовало оружие, думаете Михаилу Винницкому тихо спалось по этому же поводу. Только, в отличие от официальных властей, король Молдаванки не орал по Одессе, чтобы город на шару отдавал ему винты, маузеры и пушки. Винницкий понимал: у каждого товара есть своя цена. И за этой ценой он стоять не собирался.

Винницкий запросто приперся у ресторан Фанкони, где по-прежнему собиралась вся деловая Одесса, не обращавшая внимания на частую смену флагов. В ресторане король Молдаванки имел беседу с адъютантом его превосходительства командующего войсками генерала Бельца фон Бюлофом. Миша не унижился до того, чтобы кланяться у Германии гуманитарной помощи, а запросто предложил фон Бюлофу немножко золотого запаса в обмен на товары, в которых остро нуждалась Молдаванка. Потому что хотя Скоропадский орал комплименты про свой карбованец, за которым с понтом гоняются все биржи мира, адъютант его превосходительства был не такой поц, чтобы брать в руки это сокровище.

В конце концов одессит доботался с берлинцем, что последний получит пару кило золотишка, а Молдаванка то, что лежит на Второй заставе у Хлебном городке, безо всяких накладных и предварительных налётов. Фон Бюлоф взял аванс и начал сам себе считать, что его победоносной армии, а тем более союзнику Скоропадскому такое количество оружия на фиг не

надо. В назначенный день фон Бюлоф на встречу почему-то не явился, хотя ему было бы дешевле сходу пустить себе пулю в лоб, чем даже попытаться пристроить динаму Молдаванке. Миша Винницкий впервые в жизни нагнал морщины на лоб и всхмурил густые брови. Сеня Вол испуганно смотрел на побелевшие пальцы короля Молдаванки, сжимающие золотой гроб.

— Что вы имеете сказать, Вол? — угрожающе бросил в сторону своего коммерческого директора Винницкий. — Или эта германская инфекция хочет держать мене за фраера?

— Миша, в мире очень серьёзно происходит, — тихо ответил Сеня. — Мене брякнули верные люди, что у Германии тоже будет такой же бардак, как у нас. Они захотели поиметь революцию.

— А причём здесь я? — удивился король, — Мы должны получить товар или немцы возвращают аванс вместе с неустойкой. Или им будет таких сюрпризов, что ихняя революция может показаться мелочью среди прочих неприятностей. Вы мене поняли. Вол?

— Я вас понял, Миша, — принял Сеня это руководство к действию.

* * *

Уже ближе к вечеру Мотя Городенко, Эрих Шпицбауэр и Шура Гликберг отправились у командировку до Германии, утряся за полчаса все овировско-таможенные формальности. И пока они разыскали там переведённого на другую военную должность фон Бюлофа вместе с авансом, а потом отстучали телеграфную депешу Винницкому «Миша, вы

будете смеяться, но наш кореш таки-да умер». Сеня Вол тоже не сидел без дела.

Хотя немцы корчили рыло с понтом у них дома всё в порядке, они готовились делать ноги из Украины, а гетман Скоропадский не был такой шайей, чтоб забыть забронировать себе хотя бы один вагон до Берлина. Потому что его войско без немецко-австрийских штыков стоило не дороже легендарного ВОХРа. Так город обращает мало внимания на эту предотъездовскую суету и даже не гадает какая власть установится после очередной напасти. Одесса спокойно себе идёт у кино «Карсо» смотреть седьмую серию «Вампиров», а Сеня Вол готовит сюрпризов немцам, которые, хотя и нехотя, решили поиметь налётчиков за фраеров.

За день до того, как немцы надумали вывозить свои склады для разбора с собственной революцией, в городе раздалась серенада, после которой стекла вылетали из окон быстрее неплательщиков из борделя мадам Мессик на Спиридоновской улице. Стекольщики видя это дело, тут же обрадовались за свой жирный навар, а за садом Института благородных девиц стоял такой слой дыма, что пожарные закашлялись и перестали играть в карты. А потом весь город побежал ныкаться до порту из-за невиданного даже в Одессе фейерверка. И героические пожарные не знали куда раньше обращать внимание и вообще чего происходит. Два дня квартиры города оставались открытыми, а кругом все рвалось и горело. Но Молдаванка не унилась до безопасного по-большевистски шмона пустых хат и спокойно ждала пока завершится воловское мероприятие. В конце концов город узнал, что это был не совместный налёт авиации и обстрел флота, а просто кто-то подпалил Хлебный городок, где немцы держали всего-навсего семь тысяч вагонов артснарядов и прочие мелочи. После громкого события Привоз ещё долго торговал шрапнельными шариками из

свинца, а всё, что не сгорело, было благополучно перевезено на Молдаванку. Немцы и австрийцы сделали на себе вид, с понтом эти неприятности их не касаются, а Винницкий хорошо пополнил арсенал на много лет вперёд.

— Как там Германия? — спросил через пару недель после этих мероприятий Винницкий у Моти Городенко.

— Она почти как наш Люстдорф, только киржей больше, — рассказал Мотя, возвращая королю его золото.

— Может стоило бы съездить отдохнуть, — меланхолично заметил Винницкий. — Но когда это сделать, если столько работы...

* * *

Прохладным осенним вечером на улицах почему-то стали стрелять чуть чаще обычного. Налётчики, давшие себе немного расслабиться у заведении Левицкого на Нежинской, сходу решили — кто-то отбивает у них шмат работы. Сеня Вол по-быстрому отодвинул в сторону раздетую под гимназистку тёлку и влетел в собственные кальсоны из тонкого голландского полотна, не выпуская из руки шпаер^[105]. Налётчики выскакивали из номеров в общую залу, где утомлённо бацал по клавишам рояля фирмы «Блютнер и Шрёдер» метис Зорик в красном смокинге при белой хризантеме.

— Зорик, что шумит за окном? — оторвал композитора от работы Мотя Городенко со штанами из английской шерсти через плечо.

Метис напряг руку, сыпанул у ямку возле большого пальца жменьку кокаина, шумно втянул его в ноздрю, закрыл глаза и блаженно протянул:

— У нас опять новая папа из Киева. Теперь Одессой командует какая-то Директория при Петлюре. Только сейчас Киев союзничают не немцы, а господа офицеры...

— А, мы думали что-то серьёзное, — разочарованно протянул Сеня Вол и вернулся до своей гимназисточки, на которой кроме соломенной шляпки из одёжи были ещё и лакированные лодочки.

Петлюровцы и белогвардейцы не требовали от города ничего нового, кроме как опять сдать оружие. Можно подумать австро-немцев специально подоили на этот счёт, чтобы преподнести кровно нажитое очередным властям. А потом по городу поползли слухи, что новые власти решили инкогнито сделать в Одессе погром. Организацией погрома занимался петлюровец Тищенко, который не успевал пропагандировать, сто́ит как следует отметить проклятых жидов, так всё будет хорошо. Но кто бы позволил трясти центр города, где контингента тоже хватало? Местом погрома власти избрали Молдаванку, на которой, кроме налётчиков, жили портные, сапожники, рыбаки, торговцы, биндюжники и прочие хриstopродавцы. У петлюровцев был кое-какой опыт по части погромов в мирных местечках. Они на свою голову решили, что легко справятся с Молдаванкой, как всегда в таких случаях, взяли в союзники черносотенцев и прочий контингент, которому было всё равно кого бить, лишь бы дали выпить. Сам Тищенко хорошо помнил, чем кончаются экскурсии до Мясоедовской и не был таким припарком, чтобы лично тащиться в этой толпе, пёршейся до Молдаванки с благими целями.

Тем более, что перед петлюровцами свой погром пытались устроить господа офицеры. Они приканали до Молдаванки и, как всегда перед погромом, затребовали контрибуции. В отличие от других городов, господа офицеры вернулись с контрибуции в одних

подштаниках и доложили руководству, что белому движению, а тем более такому как из них, одесский погром будет не в жилу. Петлюровцы знали про расклад с кальсонами, но тем не менее решили проявить характер за чужой счёт.

Толпа запаслась оружием пролетариата, а также кистенями, заточками, прутьями и почувствовала себя силой. Она подняла хоругви с изображением светлого лица жидовской морды Иисуса Христа, его маланских учеников — апостолов, еврейки девы Марии и с их именами на устах припёрлась до Прохоровской улицы делать праздник.

Ощетинившаяся баррикадой Прохоровская вызвала у погромщиков лёгкое недоумение. Одно дело врываться до беззащитных хат, крушить всё, что не хочется слямзить и лупить плохо сопротивляющихся хозяев, при большом желании — до их смерти, совсем другое — штурмовать без артподготовки этот укрепрайон, где разнокалиберные стволы не очень большая редкость. Среди баррикады молча возвышались три фигуры, с понтом былинные богатыри.

Сеня Вол поднял руку и обратился до притихшей толпы:

— Я Сэмэн Абрамович Воловский, чией крови вам захотелось. Кто среди вас перед смертью рисканет её глотнуть?

Мотя Городенко добавил:

— Я Дмитрий Онисимович Городенко, отвечаю за слова своего побратима: если он перенервничает — уйдёт много жизней.

И сказал Эрих Шпицбауэр:

— Я сын Вальтера из Люстдорфа и Изабеллы с Пишоновской держу мазу^[106] за своих корешей, — и повёл впереди себя стволом от не сданного, несмотря

на грозные приказы за смертельную ответственность всех властей, пулемета «гочкис».

На баррикаду один за другим подымались Хаим Слон Бабашиха, Федя Камбала Ржепишевский, Шура Матрос Гликберг, Заур Жбан Нестеренко, Андроник Крюк Папастратос, Лазарь Чуня Портной и другие спасатели Молдаванки от беспредела. Толпа с актуальным во все времена плакатом «Бей жидов — спасай Россию» воочию убедилась, что на каждого желающего приготовлен персональный ствол и по-быстрому догнала: погром-таки имеет шанс состояться совсем в другую сторону и надо на всякий случай уноситься отсюда по системе бикицер.

В это время ряды погромщиков уверенно разрежала пролётка, где сидела шикарно одетая шмара^[107] с зонтиком, вокруг которой мрачно развалились плотные ребята при хорошем боезапасе.

— Извиняюсь, мальчики, — заорала мадама. — Я немножко опоздала от этих дел.

Шмара самостоятельно спрыгнула с пролетки и, несмотря на протянутую лапу одного из сопровождающих, дернула вплотную до себя бородача из толпы с топором за поясом и прижалась до него роскошной грудью.

— Какой шикарный мусчина, — простонала мадама, прихватив мужика свободной рукой за яйца. — Как насчёт взять в ротик?

Пока бородач соображал, что к чему, шмара выпустила из второй руки зонтик, по-быстрому выхватила из недр парижского туалета никелированный револьвер, вставила его между зубов пациента и сексуально проворковала:

— Ты по-натуре можешь отхлестать мене до крови, моя птичка. Я, Соня, дочка ломовика Блювштейна, если верить мамочке, буду тебе так благодарна.

— Сонька Золотая Ручка, — зашелестела толпа, пятясь назад Бородач отчаянно крутил глазами вокруг себя, потому что ему было непривычно дышать со стволом между зубов Соня перестала играть у карманный бильярд, улыбнулась и батистовым кружевным платочком вытерла слюну со ствола.

— Ты — дочка старого Блювштейна? — удивлённо спросил бородач. — Он со мной гонял голубей по Малой Арнаутской...

— Так что же ты забыл среди здесь? — расхохотался с баррикады Мотя Городенко. — Я всегда говорил: Одесса — это большая деревня.

— Чёрт его знает, — откровенно сказал бородач, — Все пошли и я тоже.

Соня Золотая Ручка вскарабкалась до загромождения Прохоровской, с понтом Свобода, ведущая народ на картине знаменитого у то время иностранного богомаза.

— Хлопцы! — обратился до толпы бородач. — Та ну его, этот погром. Пошли назад и просто выпьем.

— Момэнт! — заорал Вол. — Если вы припёрлись до нас у гости, то один раз может выставить и Молдаванка. Не всё же Молдаванке выставлять остальной город.

Через час объединенные силы налётчиков и погромщиков отогнали петлюровские и белогвардейские патрули от винного склада «Петров и Лурье». До позднего вечера возле баррикады шло гуляние по поводу погрома. Когда толпа гостей Молдаванки расходилась после этого мероприятия, её на свою голову, ребра и печёнку встретил провокатор Тищенко. До своего форта Тищенко вылез из Еврейской больницы на улицу весь из себя живой ровно через три месяца после того, как с Прохоровской убрали баррикаду.

Через пару событий после погрома Валька Семь Ударов прирысачил до короля Молдаванки добиваться аудиенции.

— Миша! — заорал Валька в самом начале этой встречи у верхах. — Шё вы себе позволяете в нашем общем городе? Моя Пересыпь не перестает на вас катить удивление, Миша. Или королю всё равно, шё вытворяют у Одессе эти, как пишут в листовках, интервенты?

— Валя, успокойте свой характер, — сказал Винницкий, нежно поглаживая золотой гроб. — Ну приперлись до Одессы французы с красными бумбонами на голове, разве это причина так громко выходить из себя? Как будто в Одессе мало своих французов среди местного населения. А вот этих самых чёрных зуавов в чалмах на куполах^[108] среди нас таки-да мало. Если не считать чучелу мавра, что постоянно торчит в окне колониального чае-кофейного магазина на Дерибасовской улице...

— Причем здесь зуавы? Хотя я сам видел ув театре, как один такой же чересчур загорелый зверски душил даму у неглеже. И задушил бы, падло, так она хрипела, если б Монька Голова не выпалил в люстру... Так разве я стал бы отрывать вас, Миша, по поводу этих малохольных сенегальцев в их чалмах, с понтом они выскочили из нашей кинофабрики? Ни разу не стал бы! Но эти французы оборзели до того, ше добакланились с петлюровцами и белыми и поделили всю нашу Одессу...

— Нашу? — повёл плечами Винницкий.

— Успокойтесь, Миша, вашу. Это они думают, ше раз издают указы и приказы их кто-то боится больше короля города. Но народ же не такой дурной обращать внимание на очередных глупостев.

— Так нехай себе делят, — успокоил гостя Винницкий. — Надо же понтырским властям раздуть щеки на своих фраерских мордах.

— Так вы хотите знать, чего они прикоцали, хотя греческое войско тоже швендяет по Одессе? Можно подумать, они приехали ув гости до папаши Ставраки прямо на ишаках, а не морем. Но грекам шара не проканала. А французы с петлюровцами и белыми сделали границы из канатов между своими хуторами и придумали пропуска.

— Валя, вам жалко если эти малохолные сами себе играют у таможенные департаменты? Надо же людям чем-то заниматься перед тем, как отправиться на тот свет...

— Шё вы знаете, Миша, у мене из-за ихних игрушек вчера припоганилось настроение. Пру я с Дерibasовской на Ланжероновскую по важному делу и никому не бью ув морду, как вдруг мене не пускают. Требуют какой-то пропуск, чтобы ногами ходить с боку улиц — и такой порядок посреди всего города. И всем наплевать, шё деньги везут до банка ув строго определённое время. Моим ребятам пришлось немножко пострелять заставу, шё бы успеть на дело у петлюровскую зону. Уже после того, как мы взяли банк и ехали домой до нас прицепились гайдамаки: зачем мы сделали за их границей пару трупов? Вы мене знаете, Миша, я никогда не теряюсь. Я сказал гайдамакам, шё перебежал до них из-за границы по политическим соображениям. И хотя нас, политических, белым никто не собирался выдавать, мы на всякий случай вернулись домой через французскую зону.

— Миша, шё это получается, вы не знаете? Мы будем их стрелять, а они назло всё равно ставить новых людей и требовать пропусков, раз им всем так моча ударила в голову. Ше я обязан через чю-то глупость и адивотство тратить на шару патроны, которые купил у

вас, между нами, Миша, не очень дёшево? А за пропусками стоит кругом такая очередь, с понтом эти гаврики не отпускают фуфлыжную бумагу при печатях, а девки мадам Лапидус дают у кредит всем желающим. Причём, шё в этом деле самое интересное — ни у кого из всех этих дубаков не хватает мозга брать денег за свои пропуска. Так вся Одесса, несмотря на эту шару, всё равно норовит всунуть им хабаря на карман. Даже иностранцам. Скурвят фраера французов: научатся на лапу брать, как вернутся домой — хрен отвыкнут. И будет ещё революция и ув Париже по такому поводу, попомните мое слово...

— Вот с этого надо было начинать, — оживился Винницкий. — Покажите мне, Валя, на кого похожи этих бумажек.

— Хоть сто штук, Миша, — Сказал Семь Ударов и вытягнул из-за пазухи жменю разных пропусков.

— Идите до хаты, Валя, — сказал король. — И идите хорошо. Скажите Пересыпи — Винницкий разберется с этими пропусками.

После того, как Семь Ударов благополучно миновал все зоны, ограбив по дороге до хаты гастрономический магазин Шварца, нагло стоящий одновременно на двух разных территориях, король позвал до себе Сеню Вола. И приказал ему готовить до работы гектограф, национализированный Молдаванкой ещё во времена царского гнёта прямо с железнодорожной платформы.

— Сеня, — обратился до Вола Винницкий. — Готовьте нашу типографию.

— Тут такое дело, Миша, — замялся обычно покладистый Вол. — Ребята на этой технике попечатали немножко карбованцев...

— Что? — зашипел всегда невозмутимый король. — Хорошая бумага дороже этих денег.

— Так и я им сказал. Но мальчики гонят, что цены так прыгают вверх и им не всегда хватает. Так чтоб они

не переводили хорошую бумагу и заработать, мы немножко сдали эту машину у аренду. И теперь большевики в подполье кроцают нашей типографией свои листовки на поганой до невозможности бумаге. С понтом у свое время отоварились так гнило, что им не по карману биржевые цены на клевый товар.

— Может они просто экономят? — задумался король.

— Нашли на чём экономить. Люди берут у руки эту продукцию и сходу понимают, что всё будет такого же качества, если большевики опять схватятся за власть.

— Мы не будем экономить на собственном здоровье, Сеня, — важно сказал король. — Выдерните Изю Гравера и нехай он запалит мене все печати красивее настоящих. А Мотя Городенко пускай себе проедет до фабрики Инбера. И скажет старику — Винницкий имеет интерес до срочного заказа трёх видов бланков. Так что свои дурацкие азбуки он наполирует чуть позже этого дела.

Буквально через неделю после того, как старый Инбер перестал печатать за карбованцы сборник правительственных документов ради срочного заказа, оплаченного Мотей свободно конвертируемой валютой, в общественной жизни Одессы произошли кое-какие перемены. Интервенты всех мастей забодались теряться у приколах: почему никто не давится у очередях до их шаровых пропусков? И как это получается — кого ни остановит патруль любой из властей, из кармана достается такая пачка бумаг с печатями, что солдат так и тянет отдать честь. И даже та самая надежная часть населения, что передвигается между зонами на четвереньках из-за слабых организмов — и то сорит строго отчётными документами, с понтом большевики своими нелегальными самодельными воззваниями слепым шрифтом на поганой оберточной бумаге. А актриса Вера Холодная неволью сравнивала качество документов, выданных властями, с теми, что

прислал скромный ценитель её таланта Винницкий при роскошном букете роз, и ещё раз убедилась, кто именно по-настоящему держит Одессу у руках в это интересное до тихих ужасов время.

В Одессу возвращались эмигрировавшие на зиму птицы. После их появления из города пропали французы вместе со своими зуавами. Потом как-то резко потерялись белогвардейцы и петлюровцы, бросив на произвол судьбы свои зоны. Большевики вылезли из подполья и первыми поприветствовали Красную Армию, которая, залетев до Одессы, сходу потребовала сдавать оружие. Выползший из больницы Тищенко тут же объявил себя жертвой французско-петлюровских репрессий, вдобавок пострадавшим от белобандитов, как бывший красногвардейский комиссар. И побыстрому сделал себе мандат секретаря комиссии по продовольственным вопросам.

Те, кто ещё пару месяцев назад урякал петлюровцам и французам, порылись у домашних складах флагов и выпихали в открытые по случаю тёплой погоды окна красные пролетарские стяги. Одно такое знамя спокойно себе развевалось над заведением Левицкого на Неженской из-за дефицита фонарей того же цвета.

Метис Зорик, наглотавшийся колёс, очень плохо разбирался в политическом моменте, а потому дренчал за роялем устаревший шлягер:

СКОРО ВСЁ УСТРОИТСЯ ОТЛИЧНО.
СЛИШКОМ МНОГО ДУМАТЬ НЕПРИЛИЧНО.
ВЕСТИ К НАМ ПРИХОДЯТ ИЗ БЕРЛИНА,
В МОДЕ УКРАИНСКАЯ БЫЛИНА.

— Зорик, — прервал вокал этого солиста Сеня Бык, наливая себе шампанского. — Вы сильно

марафетитесь [\[109\]](#). Этих песен были модные две власти назад, Зорик. Сейчас надо бацать «Смело, товарищи, в ногу».

— Этим товарищам не в ногу, а по морде, — задумчиво протянул Мотя Городенко, продолжая делать обыск под расшнурованным корсетом роскошной блонды. — Или я не прав?

Советская власть шмонала город такими темпами, какие не снились Моте и этому самому корсету. Всем прежним властям рядом с очередной нечего было делать. Обыски на предмет капитала, запрятанного мировой буржуазией, шли ещё методичнее, чем это мечталось Винницкому с его золотым талисманом за пазухой. Хотя трёхглавая власть тоже немножко постреляла население города у новосельских казармах, большевики старались не отставать. Местная газета «Известия» печатала списки расстрелянных за страшные преступления перед революцией — от нарушения комендантского часа до изготовления самогона, и Винницкому впервые в жизни стало слишком любопытно: откуда такой высокий профессионализм у неизвестных ему мокрушников, льющих кровь, что всем бандам вместе — слабо даже себе представить.

Винницкий понимал, что сделать в весёлое время пару лишних налётов, на которые, кроме потерпевших, обращают внимание разве что кладбищенские нищие — это ещё куда ни шло. Но грохать людей только за то, что у них есть лишняя ложка — эта революционная необходимость плохо укладывалась в испорченное бандитское сознание. Поэтому с наступлением сумерек люди Винницкого сильно потели у налётах, пока Советы не успели прижать к ногтю их основную клиентуру поголовно.

Но красноармейцам тоже хорошо удавались шмоны по хатам. Зато, чтобы навести порядок на улицах у них не хватало нервов, времени и смелости. Люди Винницкого распоясались до такой наглости, что однажды раздели какого-то коминтерновца в перерывах между выступлениями перед победившим пролетариатом за раздувание мирового пожара. Несмотря на тёплый воздух, коминтерновец ффраерился у кожаном реглане, который так запал до души Моте Городенко, что тот начал шариться по Молдаванке в этой одежде, с понтом налетчики обзавелись персональным комиссаром.

— Мотя, перестаньте этих адивотствей, — совестил своего кореша Сеня Вол. — Вас же у потемках может кто-то выстрелить с перепуга.

— Не капайте мене на мозги, Вол, — важно сказал Мотя. — Я же ходю у канотье сверху головы и этого шикарного манто из шкуры. Вы мене лучше скажите, Сеня, когда это ваши большевики отдадут нашу типографию? Или они продлили срок аренды, а, Сеня?

— У, падлы, — прокомментировал кристальную честность деловых партнеров Вол и добавил комплиментов: — Фуцыны бараные^[110].

Напоминание Городенко так резко вывело из себя обычно спокойного Вола, что на следующий день он налетел на Одрабкопмет утром и перед закрытием опять. Вол стал жить и работать так вызывающе, что Винницкому пришлось сделать ему замечание.

— Сеня, что за дела? Мы должны серьёзно работать, а не баловаться с новой властью. Зачем вы вытаскали всю мебель из ихнего Совета? Теперь людям не на чем сидеть жопами и они стали плохо думать. Та черт с ним, этим гектографом, вон Шура Матрос ёще три таких украл, а они нам на хер не надо...

Так, кроме стульев, перед Советами встала ещё одна проблема. Они утащили мебель гораздо лучше из дома графа Толстого, стали на ней сидеть и париться над серьёзной задачей. Новая власть до того увлеклась законами революционного времени с их отстрелами несознательных элементов, что в городе развелось чересчур беспризорных детей. И хотя детей в меру способностей сиротили не только большевики, но и белые, петлюровцы, французы, немцы, австрийцы, скоропадчане, зелёные, уже в те годы коммунисты болели за весь мир поголовно.

Дети привыкли, что покойные неважно от какой власти родители их регулярно кормили и не собирались отказываться от своих вредных привычек. Что эти малолетки устраивали среди города и его базаров, так проще сказать, где они не воровали. А дети постарше, которые уже могли жать даже на очень тугие курки в меру сил копировали поведение взрослых.

Новая власть гуманно рассудила: беспризорных детей всё-таки нужно как-то кормить, хотя и не за свой счёт. Потому что иди знай, вдруг захватят с голода власть у городе? А каждая революция стоит столько, насколько она может отмахаться от неприятностей.

Советы мудро решили провести ряд благотворительных концертов в пользу осиротевших детей точно так, как это сделали власти после первой российской революции с её тогда хорошо удавшимся в Одессе погромом. Одесситы обрадовались афишам, потому что им стало непривычно сидеть длинными вечерами дома среди плохого освещения и слушать как за окнами стреляют все, кому не лень, и даже балуются ручными гранатами. Так, несмотря на рекламные объявления, ни один человек почему-то не припёрся до концерта. Потому что даже очередной малоразвитый Яник и тот понимал — прийти после этого мероприятия

домой в целом виде куда проблематичнее, чем купить билет.

До счастья осиротевших детей немножко остывший Сеня Вол решил сам себе прогуляться по городу, чтоб просто без дел дышать воздухом. Сеню остановил патруль и потребовал показать документов. Законопослушный Вол вытяг из кармана такую жменю бумаг, что у патруля разбежались глаза — которую из них раньше читать по складам. Может быть поэтому патруль решил проверить на какое счастье богаты карманы Вола. Так Сеня сам привык шемонать по чужим кишням ещё чаще этого патруля, но над собой такого насилия терпел с трудом. Тем более, что все власти поголовно орали за серьёзные последствия тем, у кого при себе найдут хотя бы один ствол. Так за один шпаер на кармане Вола нет и речи. Сеня благоразумно не стал ждать, пока патруль без постановления прокуратуры завалится до него за пазуху и тут же схватится за трехлинейные винтовки. Исключительно для самообороны он приступил до защиты своей чести, достоинства и личного имущества. Патруль тоже умел стрелять стоя, лежа и с колена. Но палить прямо через карманы, как Вол, красногвардейцев никто не учил. Тем более, что из винтовки стрелять через собственный карман не очень удобно. Потом Вол побежал через надёжно лежащий патруль в сторону Молдаванки с донельзя дырявыми карманами, которые местами даже дымились, и за то, чтобы спрятать в них зажатые в руках револьверы, нельзя было даже думать. При таком спортивном виде Вол сумел добежать до Торговой улицы, где по поводу отсутствия патронов его повязал патруль за незаконное ношение оружия и потарабанил прямо у тюрьму.

Вол ещё не успел поздороваться с половиной местного населения, как до тюрьмы стали сбегаться подводы, пролётки, телеги. Больше того, до этого

заведения подъехал личный автомобиль Михаила Винницкого, за которым бандюги волокли орудия и прочий скарб, на который были так богаты оккупанты и интервенты.

Следом за Молдаванкой до тюрьмы с другой стороны ограниченным контингентом прирысачили чекисты. Начальник тюрьмы, кинув глаз за окно через крупную клетку, сходу понял: если Молдаванка начнёт нервничать, он останется безработным. Поэтому через несколько минут безобидный гражданин Вол сидел прямо у его кабинете и улыбался на незнакомый волосатый портрет со стенки.

Мотя Городенко поправил канотье над своим шикарным регланом, вытащил из карманов три гранаты, два нагана, один шабер и бережно положил на заднее сидение авто Винницкого. А потом прицепил до швайки местами белый платок, поднял его над ушами и потопал на парламентские переговоры.

— Или вы выпустите до нас Вола, или Молдаванка проявит характер, — шваркнул ноту чекистам Мотя. — Тогда от этого шикарного здания останутся только устные мемуары.

— Ошибка вышла, товарищ, — ответили мудрые чекисты. — Перегиб, так сказать. Нам бы встретиться с товарищем Винницким.

— Король сам привык командовать требованиями, — отрезал Мотя. — Но если хотите, я передам Мише этих просьб.

Когда Мотя зашёл до кабинета начальника тюрьмы, то сходу усёк Вола в шикарном кресле с гаваной между зубов. Хозяин кабинета разливал коньяк «Три журавля» в гранёные стаканы.

— Пошли до хаты, Сеня, — тихо сказал Городенко.

— Подождите, Мотя, сейчас я ему дорасскажу нашу последнюю хохму, — попросил Вол.

Когда пять тысяч налётчиков со своим скарбом вернулись на Молдаванку, Мотя привёл Вола с дырявыми карманами до Винницкого за руку. Вол чересчур смущался своего неприличного вида и поведения среди улицы.

— Сеня, я вами очень недоволен, — сказал король, — Зачем устраивать такой дешёвый шухер и отрывать людей от дел, Сеня? Сколько можно вас воспитывать, вы же взрослый мальчик.

Сеня Вол сильно переживал этих слов и, потупившись, рассматривал на пол с понтом впервые в жизни увидел под ногами Миши чего-то нового.

— Миша, с вами хотят увидаться чекисты, — пришёл на выручку кореша Городенко.

— Интересно, — сказал сам себе Винницкий, ощупывая золотой талисман — Я-таки могу иметь эту встречу, как вы считаете, Вол?

— Может они хотят совместный гешефт? — кончил делать на себе переживания тут же оживившийся Сеня.

— Нехай сперва отдадут нашу типографию, — начал опять жмотиться по добру хозяйственный Мотя Городенко.

Чекисты пришли до Винницкого, сверкая улыбками и пуговицами. От имени советской власти в переговоры с Молдаванкой вступил чекист Левка Черноморский, который до этого трудился исполнителем сатирических куплетов на Ланжероне.

— Миша, это же беспредел, когда люди из-за ваших босяков не могут выйти на улицу, — начало петь королю это олицетворение ума, чести и совести своей эпохи.

Винницкий посмотрел на сапоги чекистов, густо смазанные конфискованным дёгтем, щёлкнул по лацкану своего белоснежного смокинга и заметил:

— Мальчики, вы приканали до занятого человека. Говорите напрямки чего вам надо, вывезти контрабандно революцию у Грецию или имеете предложить немножко боезапаса?

— Миша, — важно сказал чекист Лёвка со своей козлячей бородой под наркома Дзержинского. — Перестаньте этих глупостей. Можно подумать, вы нуждаетесь в боезапасе. Мы просто хотим сделать концерт, чтобы немножко заработать для детей.

— Так об чём речь, — серьёзно ответил Винницкий. — Дети — это святое. Хотя бы потому, что их нет у меня. И слава Богу. Иметь детей в этой стране может быть страшным даже для короля. На когда назначена ваша увертюра?

— Концерт через три дня. Вы нас понимаете, Миша?

— Я вас понимаю. Но кто бы понял мене. Значит, через три дня у наших мальчиков будет маленький выходной день. Слово короля.

— Тут такое дело, Миша, — замялся чекист Левка. — Ваши мальчики — это хорошо. И даже лучше, чем вы имели предложить. Но в городе сейчас творится такое, что понять мозгом вообще невозможно. Каждый, кому не лень, считает своим долгом сбегать на грабёж. Как с такими людьми делать мировую революцию? И кто, кроме вас, Миша, поможет этим маленьким бандита... то есть детям, нашему светлому будущему?

— Ловите ушами моих слов, чекист Черноморский. Наши мальчики-таки не будут отдыхать, они возьмут под охрану город. И причём задаром. Так что нехай ваша контора сделает на себе усталый вид в день бенефиса. Пишите свои афиши крупным почерком. И чтоб на каждом углу одесситы могли прочитать своими собственными глазами: лично Михаил Винницкий гарантирует тишину и покой даже на Ближних Мельницах, не говоря за центр, от начала спектакля до двенадцати при двух нулях.

Одесса поверила обещаниям короля Молдаванки и выползла на свежий воздух. Даже те, кто не пошёл до этого концерта, сами по себе гуляли улицами и никто их ни разу не раздел. Город патрулировали налётчики с таким знанием дела, какое не снилось ни одной власти, чтобы, не дай Бог, какой-то случайный фраерский гоп-стоп не ударил по слову Винницкого. Зато когда уцелевшие городские бимбары объявили полночь, ребята Винницкого перестали охранять всё подряд, сняли с себя вид патрулей и приступили до своих прямых обязанностей. И хотя они непогано разжились, никто не мог сказать, что в день концерта по заказу чекистов среди города пропало даже кислое яблоко. Зато с первых минут следующего дня Одесса вновь зажила по всей полнокровной программе революционного времени.

* * *

В один из редких пасмурных дней до короля вдёлся лично мосье Павловский с таким понтом, что Винницкий сразу почувствовал — в городе произошли громкие события. Если б события случились потише, Павловский прислал бы до Вола приказчика, а не пригнал на собственных ногах до короля. Винницкий понял за серьёзность обстановки и отставил в сторону фужер с водкой.

— Вол, поцелуй мне у зад, — орал Павловский, напирая животом до Сенькиной селезёнки и тараня его сквозь открытые двери. — Тоже мне вышибала Грабовский с кафе Фанкони.

Хотя Сеня Вол старался удержаться на месте, он ехал по полу впереди живота Павловского прямо до стола с фаршированной рыбой.

— Я тебе дам «подождите», — грозно махал в разные стороны Павловский своим шнобелем на морде длиннее живота под жилетом, — это ты кому-то рога мочи, а мне ты пацан-легковес.

На несдержанность Павловского прибежал Мотя Городенко и попытался сзади запрыгнуть ему на плечи. Зад Павловского выпирал ещё больше живота и Мотя сумел удержаться только на нём.

— Городенко, пижён, халамидник^[111], — продвигался вперёд Павловский с двойной ношей, не считая живота и шнобеля, — спригни самостоятельно, а то если я пьёрну, так ты полетишь прямо в окно...

— Перестаньте портить мебель и мой аппетит, — сказал король, опасаясь, что сейчас в комнате станет сильно тесно и обещаний Павловского по поводу газовой атаки. — Мосье Павловский, садитесь до столу. И вместо своей крови и наших возбуждений, лучше выпейте водки. Садитесь прямо на стул, мосье Павловский, ближе до мене и рыбы. Или это не правда, что доктор Боткин говорит — у кого хороший стол, тот всегда делает достойный стул? Дайте место мальчикам на полу с ваших организмов и перестаньте натягивать у всех нервы поперёк своего характера.

Старик Павловский одним движением стряхнул от себя Сеню с Мотей и ножки дубового стула содрогнулись под ним.

— Слушайте, Мишя, — поздоровался с королем Павловский, вытирая пот со лба носовым кружевным платком, размером панталон мадам Лapidус, имевшей вес на Молдаванке. — Ви не знаете, зачем я имею платить за охрану?

Винницкий опрокинул в себе фужер водки и, не закусывая, удивился:

— Как это зачем? Вы платите за тем, чтоб до вас целым приходил товар, никто не бил в лавке стекла и

дверей, чтобы она стояла на месте, а не горела каждую ночь. Чтоб клиент не боялся переступить её порог, и хорошо себе купить пару крупных неприятностей даже при мелком опте. Мосье Павловский положите себе в рот кусок рыбы и руку на сердце, разве вы так много разоряетесь на охрану, чтобы подрабатывать воловской каруселью среди моих глаз?

— И если до мене вриваются какие-то босяки и начинают делать пигром... — опять закипятился Павловский, притягивая до себя целиком блюдо с рыбой.

— Тогда они своими жопами отвечают за некультурное поведение, — продолжил за него Винницкий, не сильно довольный такому аппетиту. — Только, мосье Павловский, среди моих головных извилин крутятся страшные сомнения — разве найдутся в Одессе идиоты, которых надоело жить с головами на шеях, чтобы вытворять у вашем гамазине, когда все знают у кого вы под охраной.

— Так вот, Мишя, эти люди таки-да нашлись, — сказал Павловский, кончая королевскую закуску попутно с выпивкой. — До мене вдёрлись большевики делать конфискацию у пользу каких-то своих пиртнёров Коминтерна и Интернационала. Если эти два адивота имеют больших аппетитов, чем те, кто от них прибегал, я прямо от вас могу идти до Бродской синагоги. И сидеть с рукой, протянутой до чеки. Она уже столько у людей позабирала, что может чего-то отбросить нищим. Хотя у этих ребят такие аппетиты, что я сильно сомневаюсь. И я сомневаюсь платить за такую охрану, когда в магазине грабьят прямо среди дня без риска получить пулю в голову. А, король?

— Мосье Павловский, — покачал головой Винницкий, с сожалением рассматривая на пустое блюдо при графине и чувствуя голод внутри себя. — Аппетиты бывают разные, а ошибки делает даже природа. Мы

недавно отвозили подарок до зоологического сада, как вам нравится? Ко мне прибежал директор. Властей круглый год — валом, а зверей всё меньше, потому что их все объедают. И мы повезли зверям немножко закусить и выпить. Так вот, мосье Павловский, в зоологическом саду есть такая волосатая лупоглазая свинья с длинным когтем из лапы. Она только жрёт, спит и воняет. Но она такая есть, хотя природа создавала и других тварей. А вы говорите большевики... Мосье Павловский, мы охраняем вас от неприятностей, но не от властей. Скажу вам честно, фраера всю жизнь имеют такую власть, которую достойны. Сейчас до вас пришли большевики, что вы хотите с-под нас? Вы же не прибегали сюда при государе, который возомнил себе императором.

— Значит, в Одессе нет короля? — нагло ухмыльнулся Павловский, вытягивая воблу из бокового кармана.

— Это дорогой вопрос, — спокойно ответил Винницкий. — Власть, которая хочет до себе уважения, имеет право на налог, а не грабёж. Когда вашу личность эта власть не устраивает, мы удваиваем ставку за охрану. Большевики начнут обходить вашу лавку, с понтом в ней можно разжиться только холерными палочками, если не считать более крупных покупок. Что вы мене имеете сказать за это философское открытие?

— Если король ответит за своё слово, я не удвою сумму денег. Я её утрою, — поклялся на вилке Павловский.

— Я вас хорошо понимаю. Политический капитал чего-то стоит, даже если его не рисовал этот волосатый шибздик, которого так любят наши красные приятели. Идите, мосье Павловский, и готовьте взносы. А также дайте отдыха с содержанием вашим приказчикам, — подвёл итог обеда проголодавшийся Винницкий.

Хотя Шурка Гликберг и Эрих Шпицоауэр были так похожи на приказчиков, как синагога на кирху, а оба эти здания — на бордель, они с утра пораньше вкалывали в магазине Павловского, из которого не успели конфисковать хотя бы четвертую долю товаров.

— Знаешь, Шурка, — сказал Эрих, поправляя ермолку на голове, крест на груди, а потом затвор под прилавком, — какое удовольствие людям сидеть целый день здесь всю жизнь? Мне уже надоело, а покупателей пока нет...

При воспоминаниях за покупателей Шурка тут же проверил легко ли прыгают в руки шпаера из-под непривычно длинного жилета с вышитой надписью «Фирма Павловский и К°».

Колокольчик у двери звякнул и какая-то мадама, увидев в руках Шурки этих непривычных для торговли предметов, тут же сделала вид, что ей пора собираться до морга, а не делать покупок.

— Шура, ты разгонишь нам всех покупателей, — заметил Эрих, — а ну, повтори лучше чего надо бакланить, когда кто-то засунет среди к нам своё рыло.

— Чего изволите? — заучено выпалил Шурка и скоропостижно добавил: — Блядь!

Эрих недовольно покачал головой и поправил:

— Ни хера подобного. Надо без блядей.

— Та пошли они все к Эбэни Фени, — исправился Шурка. — Хотя я сильно сомневаюсь, что Фенька будет довольна. Эрих, давай выпьем...

— Перестань делать детство среди работы, — выверился Шпицбауэр. — Натяни улыбку между ушей и жди своего часа.

Час Шурки Гликберга пришёл, когда до магазина с шумом и гамом вдёрлась толпа при шинелях и папах с красной полосой.

— Чего изволите? — заорал благим геволтом Шурка, делая на морде предсмертную улыбку.

— Того, того, вон того и ефтого, — потыкала пальцем по полкам одна из фигур в обмотках грязных, как совесть ростовщика, и чёрных, с понтом крыло ангела смерти.

— Давайте гроши и берите с Богом, — заметил Эрих Шпицбауэр, запуская руку под прилавок.

— Чаво? Мы за вас кровушку льём, а вы с нас три шкуры дерёте, — надорвалась в возмущённом вопле фигура, поправляя чайник на поясе. — Это надоть мировой революции и Коминтерну для вашей же пользительности.

Шпицбауэр посмотрел на оратора, который снизошел до объяснений политически неграмотному элементу и сделал вывод:

— А срачка на твоего Коминтерна не нападет?

Шурка Гликберг тут же добавил.

— И его кореша Интернационала.

Толпа загудела явно недовольно и устроила на себе такие рожи, какие обычно бывают у тех, кто хватается за живот, в котором уже вместо поноса живёт пуля.

— Ах ты, жид порхатый, говном напхатый, — обратился до Эриха обладатель чайника при винтовке. — Я ж тебя заради народа и Коминтерну час же отправлю в ставку Духонина...

Когда солдат-интернационалист увидел в руках Шпицбауэра пулемет, он понял как сильно ошибся насчёт национальности продавца и своих возможностей. И хотя остальные красноармейцы попытались сорвать трёхлинейки с плеч, Шурка Гликберг тут же стал доказывать, что скорострельность шпаеров очень мало уступает пулеметной.

— Больше ничего не изволите? — спросил в пустоту Эрих, когда в ушах растаял звон, а пороховой дым упёрся в потолок.

— Мене цикавит только, кто будет собирать мусор у помещения? — любопытствовал Шурка.

— А мене — до сраки кари очи^[112], — отрезал Шпицбауэр. — Я пришел вкалывать здесь приказчиком, а не подметайлом.

Узнав, чем заканчиваются бесплатные покупки в лавке Павловского, чекист Черноморский стал сильно недоволен. Хотя, выступая на митинге среди взволновавшихся солдат, он заметил: мародеров настигла карающая рука трудового народа, стоящая на защите мирного населения. И впредь недремлющее око чеки будет следить за порядком в городе, а пролетарский меч правосудия не затупится отсекать лапы хапуг и жечь огнём отдельные язвы на чистом теле мировой революции.

Павших у смертельном бою в лавке Павловского похоронили в общей могиле вместе с другими героями под торжественный салют и чтобы не рыть лишний раз яму. На всякий пожарный случай у Черноморского побыстрому оказался список магазинов, взятых под охрану Винницким.

* * *

Михаил Винницкий устало сидел в кожаном кресле и вынуждено хватал ушами нудности мадам Гликберг.

— У мене горе, а ты не хочишь даже сказать слово в утешение, — плакалась мадам, временами вытирая нос парчовой скатертью со стола. — Ты теперь король, конечно, а ведь в своё время я тебе носила на руках. Или ты забыл, Мишка, как дворник Терентий мазал свой

веник у говне и гонялся за тобой среди двора? Или ты не помнишь, кто дал по голове кочергой дворнику Терентий, чтоб он прекратил мучать даже такую маленькую сволочь, из которой ты теперь вырос?..

— Гм, — недовольно засопел Винницкий при воспоминаниях за своё королевское детство. — Мадам Гликберг, я всё помню... Вы же мене, как двоюродная мама. И что вам хотелось, мадам Глигберг?

— Ты должен сказать моему Шурке, чтоб он хорошо относился до мамочки... Ребёнок целыми днями ходит неизвестно где. Он такой рассеянный, его каждый может сделать обиду... Вчера, когда он спал с синяком на морде, я заглянула на барабан его револьвер. Миша, там ни одной пули... А вдруг он забудет их туда засунуть перед тем, как выйдет гулять? Раньше он всё мене рассказывал, всем делился... А теперь он больше молчит, если не пьяный. И кидает на стол жменю денег... Зачем мне столько денег, Мишка, маме не нужны этих денег, ей надо хоть немножко внимания...

— Мадам Гликберг, — успокоил старушку король. — Я лично сделаю беседу Шурке. Или он опять будет слушать свою маму или ему станет проще задавиться. Сейчас Мотя приволочит до нас ваше счастье. И я лично прикажу ему, чтоб он помнил, сначала Шура — сын, а всё остальное безобразиие — это уже потом.

Мадам Гликберг завыла ещё громче, когда на пороге комнаты выросли фигуры Моти и Шурки.

— Шура, что за дешёвые мансы? — скороговоркой забарабанил Винницкий, пока мадам опять не раскрыла на себе рот. — Я вами расстроен, Шура. Вы обижаете родную маму...

— Обижает, падло, — потрясла пальцем прекратившая издавать звуки мадам.

— Так вот, — не обратил внимания на поддержку Винницкий. — Чтобы вы слушались маму и всё ей

рассказывали, где бываете. Это в Англии король сидит на жопе с короной между глаз и не хрена не знает. А в эту тронную залу народ ходит запросто. И у кого горе — тут же до мене. Особенно старики. Мы же выросли из них, Шура, и примеряем до их свои дела. Если мы забудем стариков, кто вспомнит за нас, Шура? Перестаньте мокнуть носом и исправляйтесь прямо среди здесь.

— Мамочка, я больше не буду, — заревел растроганный Шура.

— Лучше б ты подох маленький, — раскрыла материнские объятия мадам Гликберг. — Говори маме, где ты шлялся?

— Может быть он расскажет дома? — с уважением до старушки рыпнулся король.

— Мама, я был в одном приличном дому, — пропустил мимо слуха предложение Винницкого Шурка Гликберг.

— Борделе? — въедливо спросила мамочка сына.

— Как раз наоборот — у аптеке. Мы попросили в старика Адольфа немного лекарствов ув кредит для болящего Зорика.

— Он добрый человек, — сказала мадам Гликберг. — И всегда помогал бедным.

— Конечно, мама Старик опустил руки до низу и дал всего, чего просили, даже без рецепта и прочих больничных уголовностей. Мамочка, так самое интересное было потом, чтоб мене дохлого домой принесли. Когда мы хорошо себе выпили ув этой заведении и вылезли на улицу уже вместе с Мотей, так знаете что?

— Что? — одновременно спросили Винницкий и мадам Гликберг.

— На том дому, где аптека старика Гермса, вместо красного флага опять-таки висит трёхцветный.

— Это правда, Мотя? — быстро спросил король.

— Правда, Миша. И ещё я видел одного припоцаного фараона^[113], которого в своё время заставил кормить говном собственную кобуру. Он гнал пешком вдоль улицы и орал «Да здравствует единая, неделимая Россия»...

— Вот видите, мадам Гликберг, — важно сказал Винницкий. — Теперь вы всё знаете от Шуры ещё раньше мене. Мотя, Шура, дуйте постепенно до наших складов и перекиньте большевикам остатки бумаги. Они же опять не успокоятся со своей подпольной агитацией, а нам не помешает немножко их золотого запаса.

— И нехай Вол продлит аренду за гектограф, — не успокаивался хозяйственный Городенко, выбегая с Шуркой за двери.

— Мишка, что теперь будет? — спросила местами даже счастливая мадам Гликберг.

— Всё то же самое. Новая власть начнёт орать, чтобы ей бесплатно сдавали оружие и ночами не вылазили на улицу. Но разве это главное? Властей много, жизнь одна. Главное, что Шурка Матрос теперь будет слушать свою маму...

— Ты настоящий король, Мишка, — вполне серьёзно сказала мадам Гликберг. — И я теперь понимаю, почему именно ты стал король...

* * *

Пульс деловой Одессы громко бился на задворках Пале-Рояля, где обладатели лей, франков, иен, лир и долларов смотрели на предлагаемые к продаже деникинские «колокола» с таким же уважением, как ещё недавно на карбованец Директории. Казалось, вся Россия спачковалась на южной окраине империи, чтобы

переждать чем закончится это интересное время. И хотя начальник гарнизона Гришин-Алмазов первым делом таки-да приказал сдать оружие и перестать ночами выползать на свежий воздух, Одесса отнеслась до этой блажи с таким же пониманием, как и к требованиям предыдущих властей. Стоило сумеркам окутать город, как тут же раздавались одиночные выстрелы и пулеметные очереди. Некоторое разнообразие в эту ночную музыку вносили взрывы гранат. А потом наступал день, с улиц исчезали покойники и неслись по булыжным мостовым, вымощенным неаполитанским камнем, лихачи, автомобили, фаэтоны, маячили на каждом углу патрули. Торговля после большевистского аскетизма возродилась, как театр «Сфинкс», в ночном кабаре «Дом актера» Вертинский пел будущим беженцам:

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной,
В глазах у них слезы блистали,
И горек был ветер морской...

В тот самый день, когда в кино-иллюзионе «Багдад» состоялась премьера супербоевика «И сердцем, как куклой играя, он сердце, как куклу разбил», Сеня Вол решил потревожить дневной отдых короля.

— Миша, тут такое дело... — мялся бестактный Вол.

— У мене есть надежда, что это дело на хорошие миллионы, — бросил не выспавшийся Винницкий.

— Как вы могли подумать иначе, Миша? Стал бы я вас будить за пару пустяков.

— Так что за пожар случился среди здесь?

— До нас припёрся Гриня Кот с интересным делом...

— Тоже мне явление кота народу, мало ли гастролёров сейчас крутится в Одессе. Нехай платит

пошлину и работает. И вообще, Вол, если вы ещё раз станете портить мне свидание с подушкой, я буду до того недовольный, что ваша морда это сходу измерит.

— Как вы могли так грубо подумать, Миша? У Кота шикарное, но срочное предложение. Между нами, я и так дал вам отдохнуть лишнего, хотя роль будильника с вашими настроениями оплачивается совсем у другую сторону. Кот уже пару часов горит от нетерпения, пуская всем в глаза солнечные зайчики от своего лысого купола. Он вместе с Шуркой Матросом приканчивает второй штоф самогона. Вы дождётесь, что припрётся мадам Гликберг делать опять снова свой бесконечный шкандаль. Потому что Шурка не спросил у мамочки можно ли ему насвинячиться с Котом. А чему научит Кот мальчика, кроме грабануть банк и бегать из тюрьмы? Вы уже проснулись, Миша, или мне дальше трясти воздух пустыми словами?

— Вол, приведете Кота до моего кабинета. Но если его миллионное дело окажется туфтой, он начнет пускать зайчиков не раздетой от волос головой, а голой жопой среди Ришельевской, — окончательно проснулся король и еще раз пожалел собственную личность. — Вы же знаете, Сеня, недосып для мене, как серпом по яйцам.

Когда Гриня Кот пришатался до кабинета Винницкого и открыл свой рот по поводу поздороваться, король сразу унюхал, что прежде самогон был гораздо лучшего качества.

— Я серьезный человек, Винницкий, — важно сказал саморекламу Кот. — И у меня мало времени...

— Время, — философски заметил король. — Кто знает сколько оно стоит. Вы сильно спешите у тюрьму досиживать свои сроки, раз устраиваете такой пожар, Кот? Так насколько мене рассказали, самый последний раз вы резво покинули кичу как раз потому, что продули Симону Левому на честное слово, хотя отдавать было

нечем, а, Кот? Вы решили заработать, чтобы расплесться с долгами, так зачем, как обычно, вам не взять банк или потрясти фраеров в теперь уже заграничной Бессарабии? Много ли стоит ваше время, Кот?

— Я думаю много. Миша. И предлагаю вам сделку на пять миллионов. И не бумажных «колоколов», а самого настоящего золота.

— Кажется, за эти деньги вы начнёте просить, чтоб я захватил всю Одессу и держал город под персональным флагом, — улыбнулся король.

— Вы почти угадали. Миша. Мне нужен план одесского укрепрайона.

— А может вам проще, чтобы мы заняли сразу Кремль? Тогда не нужно будет страдать частями и вы сделаетесь новый царь. Кот, вы просто не понимаете чего говорите — пять миллионов за ключ до Одессы, нафаршированной сейчас золотом, как никогда раньше. Перестаньте мене смешить такой дешёвой ценой. Это же тонкая работа, какую вы всё равно хрен поймёте. Взять этот план из сейфа Алмазова, это не ваши замашки — мочить ^[114] доходяг на большой дороге или налетать на банк без охраны. Так что не гоните пену насчёт этого голдового, но всё равно копеечного заработка, Гриня.

— Миша, умные люди всегда могут договориться между собой. А насчёт Симона — вранье. В натуре, падло ^[115] буду, ртом божусь. Вы мене немножко знаете...

— Я вас знаю, Кот, и потому разговариваю. Эта сделка будет стоить вам десять миллионов. И только потому, что я вас таки-да знаю. Король не имеет право заработать на этом деле меньше вас, Кот. Так что или готовьте аванс или перестаньте крутить башкой и

пускать мене солнце в глаз. Он и так слипается от усталости после важных дел.

— Молдаванка примет аванс бриллиантами? — капитулировал Гриня.

Король молча кивнул. Кот завалился до себе за пазуху, но сколько бы там ни шарил, кроме шпаерас перламутровой рукояткой, кастета и нескольких маслин, ничего интереснее не нашел. Кот на всякий случай поковырялся у сапогах, но из всех бриллиантов обнаружил в них только сильно пахучие портянки.

Король посмотрел на потуги этого кладоискателя и заметил:

— Не нужно пучить глаза на лоб так сильно, Кот. Иначе их на место можно будет вставить только молотком. Молдаванка иногда любит пошутить гостей. Вол! Выбигите из-за двери.

— В чём дело, Миша? — чуть тише обычного заорал Сеня, подбегая до короля с двумя револьверами наголо.

— Вол, идите до Шуры Матроса и скажите ему, что Грине вряд ли нравится этих шуток. И идите побыстрому, пока он не умотал гулять, а Кот не дошёл до разрыва сердца. И передайте Шурке слово короля, если он опять начнёт делать детство из своего поведения, мы всё это расскажем мадам Гликберг. И тогда хороший прочухон прокапает райским блаженством рядом с её нудностями.

* * *

Такого творческого вечера Одесса ещё не помнила. В Доме актёра перед публикой, набившейся в зал, с понтом там давали шаровые билеты до Турции, выступали Холодная, Мозжухин, Лысенко, Хенкин, Алексеев, Бунин, Толстой и другие не менее известные

творческие деятели вроде борца Ивана Заикина. И пока артисты зажигали высоким искусством сердца зрителей, среди которых бил своими ладонями начальник гарнизона Гришин-Алмазов, окружённый руководством контрразведки, в городе начались менее заметные, но кое-кому интересные концерты. Молдаванка в который раз сумела доказать, что среди неё тоже имеются гениальные артисты.

Водопроводчики, чинившие в резиденции Алмазова вконец скурвившуюся канализационную систему, ещё ковырялись между труб, когда до здания на виду часовых подъехала пролётка, у которой сидела интересная мамзель с густой вуалью над носом. Несмотря на вечернюю прохладу, мамзель обмахивалась веером белоснежной рукой в чёрной перчатке. Кроме ещё одной перчатки, другой одежды на этой курочке не наблюдалось даже из бинокля.

Тут как раз произошла смена караула и, хотя морда Сени Вола не очень смотрелась при погонах штабс-капитана, ротмистр козырнул ему чётче обычного, бросая взгляды мимо всей улицы до пролетки.

В это же время морские офицеры припёрлись до казарм и, пусть какой-то унтер успел заорать «В ружьё!», он получил исключительно в морду и лёг отдыхать посреди своей нелёгкой службы. А тех солдат, что не успели лечь в койки и придавить по сну, без шума и пыли загнали до столового помещения, предупредив: лишний хипес обеспечит дополнительной работой только похоронную контору Бурневица, которая и так вкалывает по двенадцать часов в сутки. И хотя один чересчур бдительный деникинский офицер добрался до телефона, перед тем, как почувствовать шабер между собственных лопаток, он успел убедиться: связь стала работать так надёжно, с понтом в Одессе успела навсегда установиться Советская власть.

А пока водопроводчикам сломало ковыряться в белобандитском дерьмопроводе и гнуть спину среди сортира на проклятых капиталистов и помещиков. Они спокойно уложили небрежно следящих за их длинной трудовой вахтой охранников, и уже через несколько минут знаменитый медвежатник Хорольский вставил до своих ушей докторское приспособление, с понтом алмазовский сейф давно нуждается в дополнительном лечении от кашля. И что бы там ни несла фирма Штраубе насчёт надёжности своих сейфов, так сигнализация тоже почему-то саботировала орать во всё горло, а тяжёлая дверца этого деникинского кладохранилища открылась так широко, с понтом в ней грубо ковырялась бомба, а не золотые пальцы Хорольского.

— Хватайте, Мотя, вашу карту до острова кладов и тикаем, — сказал медвежатник Моте Городенко.

— Хорольский, это что вам ювелирный магазин Богатырева? — спокойно заметил Городенко без своего шикарного реглана, зато при золотых погонах. — Может вместо этой картонки вы оставите в сейфе записку «Да здравствует! Долой! Даешь!». Шпицбауэру надо только посмотреть на эту маму одним глазом, а уже дома он нарисует её опять не хуже, чем Гарбуз сторублёвку. Вдобавок у него есть тонкая китайская бумага. Три минуты, мосье Хорольский, всего три минуты, и вы положите назад эту радость, чтобы наш пациент Алмазов не получил инфаркты от неожиданностей. Ни одна падла не должна знать, что в этом кубрике было посторонних личностей.

Пока Городенко нёс свои соображения, Шпицбауэр уже вкалывал. В это же время в другом помещении резиденции грубо и с нажимом по-чёрному ломали сейф

с таким варварством, что увидь эту топорную работу Хорольский бы в момент поседел. Но до своего счастья, медвежатник этого не видел, потому как ждал, когда опять сможет закрыть всё на место.

На следующий день по Одессе стали ползать слухи, что бандиты оборзели до крайностей. Они подломили сейф с фамильными бриллиантами мадам Алмазовой и теперь вся контрразведка выходит из себя по этому поводу так сильно, с понтом на город состоялся большевистский десант, способный принести ещё большее горе. Этим очередных невероятных слухов не подтвердило поведение Шурки Матроса. Если бы Молдаванка имела какое-то отношение до сильно жирного куша, стал бы Матрос на следующий день налетать на ломбард между Польской и Полицейской улицами?

— Мамочка, — сказал Шурка до мадам Гликберг через пару часов после этого события. — Вы знаете, что я вам расскажу. Миша таки-да гений. Будь мне воля, я б заказал его изображение старику Джусто Менциони с Болгарской улицы. Или самому академику Эдуардсу, который тоже умеет лепить из мрамор портреты великих личностей. И поставил бы этот статуи среди города. Чтобы Одесса видела какие люди ходят по ней живьём. И все понимали — изображения интересных гениев можно потрогать шнифтам и не только, когда барельефы вырастают над их могилами.

* * *

Улицы города заваливал редкий снежок, налётчики сами себе спокойно вышли после дневного отдыха из бодеги Стороженко, размышляя кому бы пристроить вечером сильное веселье.

— Вы знаете, Вол, мене кажется у нас будут иметься перемены жизни, — заметил Мотя Городенко, дыша всей грудью в рябчике под норковой шубой.

— Только не напоминайте за этот поганый гектограф, — взмолился Вол. — Он прямо-таки сидит в моей печёнке.

— Мотя, вы имеете в виду, что среди зданий стали исчезать деникинских флагов? — спросил наблюдательный Эрих Шпицбауэр со своим орлиным глазом.

— А что вчера творилось у порту? — протянул Шурка Матрос. — Все бежали до пароходов, как с понтом они имеют плыть прямо у рай. И пацаны собирали брошенные чемоданы со шмутками, будто вся Одесса стала делать сезонный выброс товаров.

Налетчики медленно поднялись по лестнице Якова Уската и вышли до оперного театра. Театр стоял на месте без флага на осиротевшем фасаде... На Екатерининской улице налетчики присоединились до толпы, размахивающей красными флагами. Мимо них прорысачила конница и какой-то, явно по морде, бывший подпольщик громко заорал: «Да здравствует контрибуция!».

— Вы видели, кто ехал впереди на коне? — потянула за рукав Сеню Вола какая-то дама, смахивая снежок с текущего слезой глаза.

— И кто же, мадам, проскакал на этой лошади с подковами? — сделал на себе заинтересованный вид Сеня.

— Сам Григорий Иванович Котовский, — восторженно сказала женщина и громко, с отчаянием в голосе завыла, — Даёшь Котовского!

* * *

Мотя Городенко увиделся с Михаилом Винницким, он первым делом поведал ему об этой незабываемой исторической встрече.

— Вы представляете, Миша, — восторженно рассказывал Мотя. — Среди города на Екатерининской, почти в такой же, как в мене кожаной тужурке, ехал верхом на каком-то сивом мерине сам Григорий Иванович Котовский. И вся Одесса орала из себя: «Да здравствует лысый Котовский с понтом город осиротел от настоящего короля. Как вам это нравится, Миша?»

— Скажите, пожалуйста, Григорий Иванович, самый красный командир, — заметил в ответ сильно сердитый Винницкий. Парень — гвоздь, без мыла в жопу лезет. Кстати, Мотя, он нам остался должен всего один лимончик. Так что ты пошли кого-то из ребят, нехай передаст Коту — пришла пора доплачивать. Или он будет у мене вместо лошади по Екатерининской гонять верхом на венике в цирке Михневича.

Посланный за окончательным расчётом Кота с Молдаванкой Шурка Гликберг куда-то запропастился.

— Опять Матрос начинает своих детских шуточек, — нервничал за Шурку Винницкий. — Я таки-да сделаю ему козью морду. У каждого из нас свой заскок, но не до такой же степени.

— Конечно, Миша, — согласился с королем Мотя Городенко. — Он давно уже не пацан. Я в девятнадцать лет был гораздо серьёзной личностью. Правда, уже с трудом помню этого.

— Вы были таким же босяком, Мотя, — заметил Сеня Вол. — Просто мы больше постарели и уже перестали радоваться жизни с нездешней силой, как когда-то. Когда мы впервые одели шикарные костюмы и переступили порог «Версаля». И думали, что весь мир принадлежит только нам...

— А вместо «Версаля» большевики сделали дешёвую забегаловку. И в городе всё меньше мест, куда

можно прийти на свидание с юностью, — грустно сказал Мотя.

В это время до кабинета Винницкого без предварительного стука по двери влетел Эрих Шпицбауэр, и все поняли — случилось что-то. И случилось очень сильно.

Король молча посмотрел на Эриха.

— Миша, они замочили Шуру, — сказал Шпицбауэр и зашмыгал носом — Кот имел бакланить, что теперь ему хочется шуток.

Король сжал в руке свой золотой талисман с такой силой, что скелет не смог бы пошевелиться хоть одной косточкой даже при большом желании.

— Это будет стоить Коту бледного вида и розовых щёчек, — поклялся король. — Он уже покойник.

— Миша, этот покойник не такой дурак. Он смылся из Одессы.

— Разве можно уйти от судьбы? — попытался улыбнуться Винницкий, но у него ничего не получилось.

Когда мадам Гликберг увидела перед собой виноватый вид королевского эскорта, она впервые в жизни завывала в полную силу.

— Мадам Гликберг, — сказал король. — Это моя вина. Я не уберег Шурку. Но Шурка знал, на что шёл, когда впервые положил шпаер за пазуху. Мадам Гликберг, я понимаю, что сейчас все слова — пустой звук. Но если вам хочется — возьмите свой наган и мою жизнь. Она всё равно не дороже Шуркиной. А если вы не захочите её взять, знайте, у дешёвого мокрушника Кота теперь есть четыре кровника. И даже больше. Вся Молдаванка ставит его за своих законов. Если он смоемся на Северный полюс, мы найдём его, пусть он устроит себе вид пингвина. А вашего Шурку похоронят так, что нехай Молдаванка вывернет до упора карман, но этих похорон не будет мечтаться даже новому царю

по кличке Ленин. Мы поставим над его могилой лабрадорский мрамор — я пошлю фелюгу до Турции. Вы потеряли сына, мадам Гликберг, и, если можно, у вас теперь будет четыре сыновей. Плачьте, мама Гликберг, и мы станем страдать вместе с вами за своего брата Шурку... Мотя, — бросил Винницкий Городенко, вытирающему глаз, — мне надо встретиться с твоими друзьями из чеки. Теперь благотворительности хочется королю...

* * *

И Винницкий встретился с чекистами, которые держались наглее солитёров в организмах пациентов доктора Шумейко. Потому что до того вошли ко вкусу дела, что напрочь забыли, кто им помогал делать концерты и командовать в городе.

— Миша, мы знаем чего вы хотите, — высокомерно сказал чекист Левка Черноморский. — Товарищ Котовский иногда допускает перегибов, на что ему указывает партия. Но мы сейчас не можем провести среди него воспитательную работу, потому что товарищ Котовский героически бьётся на фронтах за нашу родную Советскую власть.

— С товарищем Котовским мы как-нибудь объяснимся без посторонней помощи, — хмуро заметил король. — Нехай он своим некультурным поведением поганит великие идеи, но у мене тоже есть заслуги перед революцией. И поэтому я решил стать красный командир и сражаться за народ.

Чекисты стали переглядываться между собой, с понтом Винницкий договорился с ними сделать совместный налёт, а потом отказался от своего слова.

— Знаете, что я вам скажу, Миша, — нерешительно протянул Черноморский. — По моему мнению, вы вполне

достойны биться со всякой контрой. Но нам надо посоветоваться с партией.

* * *

Наша партия выступала когда-то против, чтоб очередная банда встала под её знаменами? Ни разу. Можно подумать, Винницкий был чем-то неумелее насчёт буржуазии всех остальных блатных, которых большевики с удовольствием просили о союзе. Но Мотя Городенко стал такой невыдержанный, что в конце концов пристал до Винницкого с нескромным вопросом, какого ему нужна эта война, хотя в городе для налётчиков почти не оставалось работы? Одессу шмоняли с такой тщательностью, что после большевиков все остальные могли разжиться только парой лишних неприятностей.

— Мотя, — покачал головой Винницкий, — или вы не видите, что творится в стране? До власти дорвались блатные. Все при кличках, как мы. Все прошли через кичман^[116]. Но они вытворяют такое паскудство, за которое бы им на каторге сделали правилку. Может поэтому так называемых политических не мешали с остальными блатными, чтоб люди не перенимали от них зверств? Мотя, мы тоже живём с налётов. Но не позволяем себе стрелять людей из развлечений. Мы снимаем золото, стараясь не делать покойников. Потому что живой человек заработает ещё раз, может, до нашей пользы. А что они? Грабят лучше нас, но убивают. Ни один уркаган не позволит себе стрелять у живого человека, если не спасает шкуру. За женщин нет речи. Костя Тютюн шлепнул сам себе ув голову после того, как случайно попал одной мадам в спину при налете. И кто его осудит за это, пусть Костя был

пьяный? Но закона воров он не нарушил. А они бьют людей по-чёрному, только за то, что фраера дышат воздухом. У них нет слова и чести.

— Так зачем мешаться до компании, которую надо брать на ножи? — спросил недогадливый Мотя.

— Другой власти у стране вряд ли будет. И кто сейчас останется в стороне, тот пройдёт мимо куска пирога с жирной начинкой. Тем более, что желающих урвать, кроме нас, как грязи. А потом придёт наша власть и вы, Мотя, иди знай, станете губернатором Одессы. И вам не нужно будет бегать на налёты, рискуя собственной шкурой. Будете сидеть на кровати среди тёлок, а чекисты приволокут, чего понравится...

— Это хорошо, — сказал Мотя. — Я уже согласен быть губернатор. Только сперва чекисты должны привести до мене своего кореша Кота под вот этот шабер. А разве вы, Миша, не хотите сами быть губернатор?

— Насчёт Кота, Мотя — это моё горе. Но король не может спуститься до простого губернатора...

* * *

Вся Одесса высыпала на улицы, провожая налётчиков на войну. Одесситы сильно загордились своими бандитами, готовыми ложить головы и иногородних людей ради их же светлого будущего и революции в мировом масштабе.

Впереди семи тысяч головорезов ехал на личном автомобиле Михаил Винницкий с красным бантиком вместо цветка на груди. Рядом с ним грозно и непривычно держал шашку наголо Сеня Вол.

— Где мы едем, Мотя? — выпрашивал у Городенко Эрих Шпицбауэр.

— Мы едем разбираться с белополяками. И это будет такое счастье, когда вместо них вдруг встретим Кота. Я его, падлу, зубами рвать буду, если Миша это первым не сделает.

— Хорошо, Мотя, допустим, мы уже сделали Коту вырванные годы и дали копоты этим самым белополякам. А что потом?

— А потом, Эрих, мы дадим просрать белофинам, белобессарабам... Та мало ли кому ещё, если эти козлы большевики раздали полстраны и почти сто пудов золота. Надо же забирать назад своё добро. То есть наше добро, Эрих.

Войско Винницкого добралось аж до Раздельной, когда сильно проголодалось. Уркаганы разбрелись по ещё нераскулаченным огородам и хатам, чтоб местные сквалыги подхарчевали тех, кто прёт сражаться за их счастье. Население не возражало, хотя при этом молчало чересчур недовольно. А потом до Винницкого прибежал комиссар, которого всё молдаванское военное соединение с большим трудом терпело целых два дня. Комиссар стал выступать до Миши, с понтом имел право от рождения подымать голос на короля. Винницкий для начала послал его и послал хорошо, хотя при этом не дал ни разу по морде. Комиссар по привычке рванул на себе маузер, и Винницкому этот жест сильно не понравился, хотя Сеня Вол успел спустить курок еще раньше короля. После такого недоразумения другие красноармейские части вместо того, чтобы воевать белополяков почему-то налетели на соединение красного командира Винницкого, хотя на поминках по комиссару было ещё не всё выпито. Король понял — он совершил самую серьёзную ошибку в жизни.

Умевшее хорошо воевать исключительно в городских условиях войско Винницкого редело на глазах. К Одессе пробилась незначительная часть налётчиков.

Эрих Шпицбауэр проложил огнём «гочкиса» путь своему королю до медленно ползущего подальше от этой беды железнодорожного состава. И когда Михаил Винницкий уже было запрыгнул на подножку вагона, его прошила пуля. Поезд уносил умирающего на руках Эриха короля в другую сторону от Одессы, Сеня Вол перевязывал продырявленную осколком ногу Моти Городенко.

Из красиво очерченного рта Винницкого медленно сочилась красная струйка.

— Моя вина, — выдавил из себя Мишка, давясь собственной кровью, — столько ребят загубил...

— Перестаньте, Миша, — неубедительно протянул Шпицбауэр, — каждый имеет шанс локшануться^[117]. Вы же не Бог, Миша, вы только король. Мы ещё вернёмся в Одессу и тогда...

Дрожащей рукой Винницкий протянул Эриху свой золотой талисман, густо вымазанный кровью.

— На память... Хотя фарту не добавил. И помните о слове за Кота. Спойте напоследок...

Когда хор из трёх голосов ещё не прикончил всех слов «Сашки», любимой песни короля Молдаванки, Винницкий был уже мёртв. Сеня Вол и Эрих Шпицбауэр тащили на себе по степи стонущего Мотю и замолчавший до поры пулемет. До их форта от Одессы было совсем недалеко, когда эту живописную группу усёк красноармейский разъезд. Он поскакал выяснять кто такие и откуда, но так толком ничего и не понял, потому что Эрих прежде, чем начнут задавать дурные

вопросы, сходу стал отвечать из «гочкиса». Ему в меру сил помог сразу с двух рук Сеня Вол и даже Мотя Городенко доказал, что его рана прицельной стрельбе не помеха. Через минуту от разъезда остались пара живых лошадей, которые с радостью медленно пошли в степь без тяжести на спинах.

Зато на звуки выстрелов до бойцов с белополяками понеслись сразу несколько эскадронов, экспроприировавших мироедов насчёт пожрать в соседнем селе.

Мотя сходу догнал каких событий будет дальше.

— Эрих, одолжите мне свой ствол, — попросил Мотя, — и садитесь с Волем верхи этих животных, пока они далеко не смылись. А я напоследок сыграю красноперым^[118] такой вальс, что они его запомнят на всю оставшуюся жизнь.

— Эрих, уперёд! — чуть ли не радостно поддержал эту идею Вол. — Мне интересно посмотреть, как вы сядете жопой на коня без фаэтона. И по-быстрому.

— Хрен вам на рыло. Вол, я остаюсь вместе здесь.

— Эрих, у мене мало патронов, но сейчас я вас прямо-таки выстрелю, — заявил Вол. — Я пока живой, и вы обязаны слушать моих слов.

— Вол, дуйте отсюда, — заорал Мотя Городенко.

— Мотя, вы же один долго не протянете, а Эрих не уйдёт далеко. С мене кавалерист, как деловой с фраера. Эрих, тяни свой фарт и помни — ты не ляжешь рядом с нами, потому что пока топчет землю Кот. Давай, сынок, делай ноги по-быстрому.

Эрих медленно развернулся и вскарабкался на лошадь.

Мотя Городенко приставил к своей голове шпаер и сказал:

— Вол, если вы не сядите на второго мерина, я буду изображать свою последнюю хохму.

В степи сухо треснул одиночный выстрел. Лошадь понесла Эриха по выгорающей траве, а вторая, пронзительно заржав, грохнулась оземь.

Вол опустил руку с револьвером.

— Вот видите, Мотя, мне же просто не на чем ехать. Вы же не хотите, чтобы я сидел своей пятой точкой на дохлом животном. Мотя, не надо лишних слов. Вы просто готовьтесь до концерту, а я немножко пособираю нам боезапаса от тех, кому он даром не нужен.

— Скажу вам честно, Вол, я никогда не думал, что помру в какой-то дешёвой степи, — признался корешу Мотя, когда Вол по-быстрому собрал немножко разнокалиберной стрельбы и устроил окоп за дохлой лошастью. — А как вы до этого отнесетесь?

— Это всё труха — лопни, но держи фасон, Мотя. Мы помрём, как другие деловые, и никто за нас не вспомнит.

— А вам хотелось бы, чтоб вашим именем назвали Пишоновскую... — съязвил Мотя.

— Та ну его в баню, — заржал Вол. — Вся Одесса подохнет от такой хохмы. Пускай себе лучше живет. Это же с ума сойти, если в городе появится хутор имени налётчика Воловского.

— Перестаньте сказать, Вол. Я уже точно знаю, что в Одессе успели припихать до какой-то улицы уркаганскую кличку.

— Случайно не будущего покойника Кота? — не к месту брякнул Вол, потому что на них уже скакали эскадроны красноармейцев.

Вместо ответа Мотя Городенко сделал первый выстрел, и Сеня Вол тут же прикипел до «гочкиса».

Свой последний бой они держали ровно столько, на сколько хватило скромного боезапаса.

— Эй, фраера. — заорал Вол из прикрытия. — Мне уже нечем вас стрелять. Мы будем немножко сдаваться.

Красноармейцы окружили налетчиков, теперь уже мирно сидящих на земле.

— К стенке! — вяло приказал их командир, и Вол с Мотей залились от хохота.

— Гляди, веселые попались, — сказал один из кавалеристов, передергивая затвор карабина. — Хорошо, не очень находчивые. Позиция у них — хоть куда. Смеются, падлы, а сколько бойцов революции угрохали...

— Вот малахольные, — продолжал заливаться хохотом Мотя, — где вы, придурки пиленые, среди здесь найдёте стенку?

— Помкомэска Тищенко! — заорал командир. — А ну, кончайте их.

Прежде, чем сабли красноармейцев начали свой танец на телах налётчиков, Мотя Городенко и Вол быстро взмахнули руками, с понтом прощальном салюте. Швайки одновременно вонзились в помкомэска Тищенко и в степи легло больше на одного деятеля, погибшего за самое справедливое дело в истории человечества. Имя героя революции Тищенко осталось в памяти народа навсегда. Его носит один из домов культуры Коминтерновского района...

* * *

И прошло время. Весна осыпала акацией выщербленные неаполитанские камни, но солнце

светило уже не всем. Эрих Шпицбауэр сидел возле мадам Гликберг, она ни разу не выла, а только изредка смахивала морщинистой рукой слезы, текущие по щеке, похожей на перележавшее зиму яблоко.

— Мама Гликберг, — сказал Эрих и нервно дёрнул глазом. — Теперь мы можем уходить. И уходить спокойно. Кот-таки получил гроб с музыкой, и слово Миши не выпало в осадок.

— Зачем ты мелешь этих идивотстей, — перестала катить слезу по щеке мадам Гликберг. — Ты ещё жить и жить. Разве двадцать пять тот возраст, на который обязательно лезет тень от могильной плиты?

— Молдаванка умирает, мама Гликберг, или нет? Или вы можете сказать, что всё, как раньше? Где новый король и старый порядок? Кто имели шару выжить, разбежались по мышиным углам и сидят в них тише улитков. Вы что не видите или боитесь рассказать себе — пришла новая жизнь. Одессой командуют деловые при власти. Нас раньше терпели с трудом, но мы были сильные, а они фраера. Теперь нам не будем местов среди жизни.

— Местов есть, но с большим трудом, — откровенно призналась старуха. — Да и то тебе. А мене даром не надо. Я уже имею место на кладбище рядом с Шуркой. И хожу туда часто, чтоб потом быстрее привыкнуть.

— Все там будем. Но прежде, я им сделаю последний заплыв до деревянного бушлата. Потому что в них нет ничего людского. И Бог не станет против этого. Мы били их врагов. Они бьют нас. Но они по натуре не могут без крови. И когда не останется кого бить — будут жрать друг друга. Как те крысы в железной бочке, когда старый Лapidус делал крысобоев на пароходы. Я долго шёл до Одессы... Они вешали людей вниз головой и ногами кверху. Они рубили своими длинными швайками тех, кто подымал руки. Какой урка замочит поднявшего до горы ладони?

Им надо рвать горло голыми зубами. Нас мало, но нас ещё есть. Молдаванка живёт, и она умрет вместе с нами.

И Эрих пошёл до Крюка Папастратоса, который всегда был одиночкой и презирал мир.

— Андроник, — сказал Крюку Шлицбауэр. — Тебе не противно жить?

— Мене всегда было противно жить, но у мене дети, — ответил Эриху мудрый Крюк. — Молдаванка изменилась, Эрих, как цвет моря перед зимой. Ты посмотри на Лазарю Чуню — и не найдёшь слов даже с трудом.

И Эрих почапал до Лазаря Портного. Лазарь шёл по улице в длинном лапсердаке без ничего под низом, а до его руки была привязана коротконогая собака, подметавшая ушами пыль улицы.

— Лазарь, в тебе нет интереснее дел, чем таскать на штрике бибирусу^[119] с ушами больше, чем я весь? — спросил Эрих.

— Что ты понимаешь, в этот собака текёт почти царский кров. Я дал за неё золотой браслет одной мадам. Она так орала за этот собака, когда бежала до пароход. Я обещал смотреть за её собака. И отдал мадам её золотой браслет назад... Собака маленький, но если б ты знал, скоки он жрёт в себе... И вообще, какие дела, Эрих? Мы открыли с Нестеренкой лавку на паях и мирно не воюем до властей. На кусок хлеба есть даже для этот редкий собака, который стоит больших денег. Прямо-таки не собака, а банковский капитал.

— Торгуй, Лазарь. Флаг тебе в руки, — сказал Эрих. — Хотел бы я знать, когда они доберутся до тебе и этой недобитой шавки? Но разве вся Молдаванка уже умерла, как ты, Лазарь?

Молдаванка была ещё жива, хотя у неё ушло много крови. Через пару дней у чекистов началась запарка, от которой они отвыкли среди мокрых дел. На Общество взаимного кредита и кооперации был сделан налёт, Эрих Шпицбауэр раздавал Молдаванке башмалу мешками. И чекист Черноморский божился Лениным на всю Одессу, что лично прислонит бандюгу Шпицбауэра до стены. Но прошло четыре дня, а Шпицбауэр до стены не прислонялся. Больше того, когда чекист Черноморский важно нёс свою жопу, обтянутую галифе, между двух других краснозвёздных урок в кожанках, к ним подлетела пролётка. И Эрих Шпицбауэр с двух шпаеров одновременно доказал всей этой компании: до стены можно прислониться и посреди мостовой.

Чекисты на всякий случай расстреляли прямо у тюрьме всего десяток наиболее подозрительных, но Черноморскому и его подельникам от этого камни мостовой не показались мягче, а могильные холмы — легче.

— Эрих, — сказала Шпицбауэру мадам Гликберг. — Перекрати. Ты будешь гробить их, а они — безвинных. Ты что, не можешь найти свою пулю как-то по другому, Эрих? Краснопёрые уже были у мене и сказали своё слово. Они не напугали мене, Эрих. Потому что я и так зажилась здесь без Шурки, и мой Шлёма уже двадцать лет, как лежит после налёта без удачи. Но они обещали такое, что никто бы не поверил, если б не знал с кем имеешь дело. Если не хочешь, чтоб эти волки догрызли Молдаву, беги с Одессы, Эрих. Они не успокоятся.

Эрих Шпицбауэр сидел на берегу моря и смотрел на вспыхнувший огнями город, уходящий в прошлое. Он пришёл до моря улицами, переделанными под клички воров и мокрушников, догоняя: далеко не всем блатным выпадает такой фарт. Эрих ещё раз с грустью

посмотрел в сторону города. И тогда до Шпицбауэра подошёл старик в рябчике, с пестрой косынкой на голове, в когда-то ярко-красном кушаке и галошах на босу ногу.

— Я отпускаю тебя, Эрих, — сказал старик, похожий на ломовика и грузчика-банабака одновременно. — Мне тоже нечего делать в этом городе, которого уже нет. Он будет стоять, но осыпется и сгинет. Он будет жить, но жить воспоминаниями. Он захочет возродиться, но не сможет. Потому что среди него не останется тех, кто сумел бы этого сделать. Одесса остается без своего духа. А значит от города будет только название. Пустой звук — и ни разу больше. Мир велик, Эрих. И мы будем бродить по миру, зная, что в нём нам нет места. Потому что остается память.

— Я уйду, старик, — сказал Эрих. — Но оставлю своё сердце здесь.

— Тебе легче. У меня сердца нет, — вздохнул старик и тут же быстро добавил: — Шухер, Эрих!

Шпицбауэр увидел, как из темноты вынырнули в лунную дорожку фигуры с винтовками наперевес. Эрих выдернул чеку из гранаты и пока взрыв разметал по песку первых чекистов, выхватил из-за пазухи шпаера.

— Беги, старик, мне такая охота повоевать.

— Уходи ты, Эрих. Мне они свиснут в одно место.

Эрих откатился в сторону, а старик поднялся в полный рост и пошел к морю, не обращая внимания на выстрелы. Он шёл, едва касаясь старыми галошами кромки спокойного ночного моря, повернувшись спиной к городу, а пули прошивали его латаный рябчик и выцветший от времени кушак. Старик спокойно шёл по лунной дорожке и ему вслед неслась пальба до тех пор, пока он не растворился, став незаметным на чёрной глади моря.

— Смотри, опять масть в жилу легла, — рассказал сам себе Шпицбауэр, трясаясь в прокуренном вагоне. —

Не иначе Мишкин подарок фарт гонит. Я ещё вернусь за своим сердцем.

Эрих Шпицбауэр не знал, что ему оставалось жить всего полгода. До той самой минуты, когда пуля маузера с серебряной накладкой «Верному сыну революции тов. Коротаеву за доблестный героизм» пробьёт всего лишь природный механизм, качающий его кровь. Потому что сердце Эриха навсегда осталось в Одессе.

Часть четвертая

В начале семидесятых годов миниатюрный гроб работы Рахумовского выплыл из прошлого при очень интересных обстоятельствах. У одного из продолжателей славных гохмановских дел коллекционера Собко появилась очередная интересная побрякушка. На этот раз Собко удалось насобирать небольшую бриллиантовую цацку. Её царь Петр подарил одной из своих мадам, которую любил между рубкой стрельцовских голов и леса для нужд российского флота. Хотя Собко не сообщал на весь мир, откуда ему удалось выковырять такую цикавую штучку и где она теперь лежит, из Ленинграда приехал до него один урод разоряться за то, чтоб реликвию продали его хозяину. Потому что царь Петр жил вовсе не в Одессе, а в этот самый Ленинграде, так нехай его достояние и лежит в районе Дворцовой площади. И при этом предложил за побрякушку в три раза меньше, чем оценил её сам Антиквар.

Как патриот Одессы, Собко поведал шестёрке, что бриллиантовая реликвия будет украшать нычку [\[120\]](#) Жемчужины у моря, и пусть Северная Пальмира не раскрывает на неё свою жадную пасть. Что было — то сплыло, и разве мало в славном городе Ленина мест откуда можно выколупать не менее достойных побрякушек?

Так ленинградцы на свою голову почему-то решили, что подломить хату Собко будет легче, чем Эрмитаж. И оказались правы. Стоило Собко с женой пройтись к кинотеатру и до отвращения насладиться индийским фильмом, как в их хате разобрали потолок неизвестные личности и стали нагло раскатывать губу на то, что в своё время наколлекционировал Собко. Хотя они

шмоняли четыре комнаты в течение часа, так нашли какого хочешь антиквариата, только без бриллиантовых формальностей.

Может кому и радостно увидеть в потолочном проёме небо у алмазах. Но Собко эти самые алмазы не очень понравились, хотя бриллианты остались целы. Чтобы ленинградцы тоже могли получить мешок не менее интересных сюрпризов, в город на Неве отправилась бригада, которую с трудом вместило бы кафе «Норд». И ленинградские менты с ходу скикикали, что до берегов Невы докатилась черноморская волна, когда работники моргов взяли на себя повышенные социалистические обязательства впереди гробокопателей.

Эта эпидемия закончилась так же внезапно, как и началась, потому что Собко и его ленинградский коллега Бочаров выдохлись коллекционировать до степени перемирия. Гарантом прекращения боевых действий выступил патриарх собирателей Ростислав Московский. В знак вечной дружбы коллекционер Собко передал Бочарову побрякушку, с которой всё началось, хотя бриллиантов на ней было не столько, чтобы тратить такое количество патронов и телохранителей. В свою очередь растроганный Бочаров отдал Собко на добрую память гроб работы Рахумовского плюс два миллиона на ремонт хаты. Хотя Ростислав Московский и получил двести тысяч и что сидел с важным видом между двумя любителями искусства, оставшихся денег одесситу вполне хватило на новое чердачное перекрытие.

Через год после того, как эти деятели мирно разошлись, с Бочаровым случилась скоропостижная неприятность при загадочных обстоятельствах. Зато эта самая бриллиантовая побрякушка стала называться народным достоянием, и газеты хвалили ментов, с понтом они лично создали ювелирный шедевр.

Коллекционер Собко искренне радовался, что вовремя расстался с небезопасной побрякушкой, а также за судьбу Бочарова. Потому что лучше иметь гроб у своей коллекции, чем лежать в настоящем, пусть даже таком богатом, как у Бочарова.

Исторический опыт доказал: нельзя втихую радоваться чужому несчастью, если непонятно откуда ждать сюрпризов. Тимуровцы собирателя Собко, изо всех сил помогавшие ему коллекционировать, не успели гавнуть, как их хозяина нашли в отремонтированной хате, обшмаленного не хуже курицы и с пеньковым галстуком на посиневшей шее. Два залётных уголовника, совершивших такую жестокость, были выслежены очень быстро. И хотя они ускользнули от осиротевшей бригады Собко, эти мерзавцы не ушли от нашей доблестной милиции. Один, правда, погиб во время так называемого огневого контакта, а со вторым случилась смертельная неприятность прямо у тюряге, но всё равно заслуженное наказание их не миновало. И хотя наши газеты, в отличие от ленинградских, набрали себе в рот морской воды и всего, что в ней растворено, по поводу отличившихся ментов, гроб с золотым скелетом каким-то макаром совершенно случайно оказался у солдат правопорядка. Объявлять его народным достоянием, как и некоторые другие вещи покойного Собко, менты не торопились. Потому что сами стали потихоньку учиться понимать прекрасное и чего оно стоит.

И пусть этот самый ювелирный гроб был подарен одному московскому деятелю, этих ментов через время повязали их же кореша, а наш народный закрытый суд сходу прислонил одного шустрога старлея до стены, отправив остальных на перевоспитание в спецлагерь для милицейских, партийных и других не чересчур проворовавшихся, но попавшихся мелких сошек.

Ростислав Московский мог стерпеть даже то, что живёт с виду скромнее руководства МВД всего Советского Союза. Но чтобы Щёлоков прослыл ещё большим коллекционером, чем он — об этом не могло быть и речи. Ростислав Московский поставил на краплёную карту свою репутацию, использовал кое-какие связи и даже вертолёт, попутно откровенничая с доверенным лицом некого Андропова. В конце концов гроб остался у Ростислава, а не клюнувший на аппетитную приманку Щёлоков — на своём боевом посту. Андропов остался недоволен. На целых шесть лет, пока Щёлоков его усилиями всё-таки дошёл до того состояния, когда примерил на себя деревянный бушлат.

Пускай сам себе Леонид Ильич в те годы ещё довольно внятно говорил за борьбу с правонарушениями, Ростиславу Московскому от этого легче не стало. Потому что, когда водитель рискует потерять права из-за нарушений правил дорожного движения, это может привести до аварии, даже если на заднем сидении лимузина дремлет постаревший Ростислав со своими дедовскими методами работы. Через неделю после гражданской панихиды ювелирное произведение Рахумовского досталось преемнику Ростислава Колдакову, который понимал, что бывает с автомобилями, если довести тормозные шланги до нужного состояния.

Колдаков не успел развернуться в полную силу, чтобы доказать всему цивилизованному миру, как надо трудиться, согласно последним съездовским призывам, и скоропостижно скончался от обширного инфаркта. Потому что Сева Гриб вполне хорошо делил Москву со старым Ростиславом и даже был по натуре крёстным папой его осиротевшей сорокалетней малютки. Он мог бы простить несдержанность Ростислава, но наглое поведение рвущегося к полноте власти Колдакова не добавляло настроения.

Гроб с золотым скелетом отправился в Ялту, где был посчитан за пай у строительстве одной почти пятизвездочной гостиницы. Кто знает, может быть поэтому Сева Гриб скончался так, как только мечтается при его профессии — тихо и без посторонней помощи. Потому что эта самая золотая побрякушка была до того фартовой, что имела принести своему очередному обладателю только сходство с собой, без намека на изготовление последнего убежища из драгметаллов.

Та ялтинская девочка, которой был презентован гроб до двадцатилетнего юбилея за качественное обслуживание некоторой части населения, меньше бы убивалась за потерей сувенира, если бы знала об его последствиях. К счастью ростовского гастролёра Мишки Пряника, разбомбившего её хату, фортуна повернулась до него жопой во время игры в Одессе. Пряник вернулся в родной Ростов без копейки денег на кармане, но зато весь из себя живой...

Часть пятая

Медленно просыпалась сильно постаревшая красавица Одесса. Убегали в щели коммунальных кухонь тараканы, вместе с первыми лучами солнца прекращали привычную возню мыши. Роющиеся в мусорных баках коты бросались врассыпную при виде выскакивающих гадить псов и их хозяев, даже если это суки. Из дверей молочного магазина выталкивал свою тележку малохольный Алеша Мушкетёр, а очередной одесский придурочный Яник гордо делал утреннюю разминку с пустой коробкой от устаревшего телевизора «КВН» прямо на улице.

Уже волочили тяжёлые сумки с Привоза обливающиеся лёгким утренним потом домохозяйки, орали буксиры в порту, и с новой силой заводские трубы принимались коптить голубое небо, когда Цукер подошёл к самой кромке берега с табличкой «Причал № 348» и ласковая волна умыла его ноги тончайшим слоем мазута.

Причал за Дофиновкой, созданный для проката лодок и прочего обслуживания трудящихся, распространял запах вяленой рыбы и гниющих водорослей. Начальник причала Юрка Махонченко смотрел сквозь беснующуюся толпу рыбаков и время от времени устало повторял:

— Ну вы, козлы! Я же говорю — погранцы пока не дают «добра» на выход у море. В море идти нельзя, так что идите на...

И добавлял самое любимое слово из своего лексикона. Через полчаса на причале осталось два десятка наиболее стойких любителей пошарить крючком у морских глубинах, решивших дожидаться пока застава даст «добро». Когда число ожидающих

сократилось до имеющегося на причале количества лодок, а в крохотном кабинете Махонченко появилась батарея водочных бутылок при хорошей закуси, застава дала «добро».

— И не забудьте, после рыбалки — коммунистический субботник. — Как и требовалось по инструкции напутствовал Юрка рыбаков перед выходом в море. — А также трудовое участие, положенное уоровцам. Чтоб причал блестел, а то в следующий раз пойдёте не в море, а на...! И забор подлатайте! Скачете через него, козлы, с четырёх утра, людям спать не даёте... Застава даёт «добро» на выход у море после восьми, на... вы мене тут надо раньше?

При слове «застава» боцман причала Вася Шнырь сильно морщился, хотя в море идти не собирался. Вася Шнырь тоже любил ловить бычков, но в своё время из-за пограничников прервал это занятие на несколько лет.

Боцман Шнырь происходил из старинной одесской семьи, поколение из поколения жившей с моря. И хотя чем больше лет исполнялось советской власти, тем меньше рыбы плодилось у берегов Одессы. Но Васе и её хватало, чтобы иметь свой кусок хлеба при стакане вина и плевать на заборы, густо обклеенные рекламой за нехватку пролетариата на заводах и фабриках.

Так однажды Васе сильно сломало, что золотое время утреннего клёва напрямую зависит от капризов погранцов и их разрешения на выход у море. Вася легко мирился с тем, как после десяти часов вечера погранцы разгоняли всех с берега, чтоб им не мешали наблюдать, как коварные капиталистические диверсанты выползают из волн для очередной дозы вредной деятельности. Зато Шнырь всегда нервничал, что не может выскочить на воду с первыми лучами солнца и поймать на несколько кило бычков больше. На свою голову Шнырь решил не зависеть от заскоков заставы и

расписания причалов. Он раскололся на целых сорок рублей — двести кило бычка! — и купил резиновую лодку. Эта лодка оказалась не только дорогой, но и сильно нефартовой, потому что прожила в рабочем состоянии ровно один день. Хотя она была гораздо надежнее, чем последующие поколения надувных предметов со знаком качества.

Рыбаки громко матюкали заставу, пограничники не давали разрешения на выход у море, а причал — лодок. Но Шнырю уже было наплевать на причал с не меньшей силой, чем на зелёнофуражечников, потому что он выскочил в море на своей собственной лодке и быстро сориентировался, где стравить якорь. Каменная гряда, над которой колыхался в надувной лодке Шнырь по утренней зорьке, предложила рыболову отборных кнутов и бубырей. Вася стал сильно ругать сам себя, что не сделал эту чудесную покупку гораздо раньше.

Клёв был прекрасным, но его вдруг испортил не ветер «молдован», а погранцы. Они подлетели до Васи на своём катере и стали выступать. Шнырь продолжал таскать бычков, лениво препираясь со служивыми, хотя на его резиновой бригантине не было такого тяжёлого пулемета, как у оппонентов. До Шныря доходило, время работает против него, потому что чем больше Вася втягивался в дискуссию, тем меньше обращал внимания на удары рыбы, дробно передающиеся по пруту. Время, время... Попробовали бы погранцы пристать со своими нескромностями до васькиного прадеда в те времена, когда он выходил у море на собственном баркасе, даже если волочил до восхода солнца контрабанду, а не мирно удил неизвестную теперь одесситам пеламиду. Так в отличие от деда резиновый баркас Васьки несёт на себе какое ты хочешь рыбацкое вооружение, но только не то, что позволяло прадеду Шныря говорить на равных со всеми пограничниками Черноморья. Поэтому в конце концов Шнырь капитулировал,

искренне сожалея о потерянной возможности продать сегодня на десять-пятнадцать кило бычков больше, чем обычно. Ваську вместе с его новенькой лодкой подняли на борт катера и уже через сорок минут он увидел без бинокля начальника заставы, который попарно напирал на него с помполитом.

Васька хлопал себя ресницами глаз по морде и не хавал, чего эти двое на него орут, с понтом он не ловил рыбу, а обстреливал их заставу, мешая полноценному отдыху во время службы на спокойном морском берегу. Но помполит выскочил из себя гораздо раньше начальника и начал грязно намекать на возможность изменить родине при помощи резиновой лодки. И больше того, иди знай, вдруг Васька подаёт враждебные делу построения коммунизма сигналы или он резидент, которого ждала подлодка, трусливо спрятавшаяся в нейтральных водах? Однако Васька тоже умеет раскрывать своё хавало на ширину плеч, потому что на стамбульском рынке бычок дешевле, чем торгует Привоз. Так утверждают моряки, несмотря на то, что радиоточка всё время переживает за дороговизну в странах капитала. Но помполиту Васька не стал гнать за экономически невыгодное для Шныря перемещение к турецкому берегу. Он просто очень тонко намекнул: к нему выступает тыловик до такой степени, что в своё время Шнырь любил его через задний проход. И вообще Васькина фамилия не какой-то там Резидент или Абрамович, а вовсе Шнырь. И пусть этот штымп при погонах не распускает слюну по поводу измены родине, а то Васька вполне в состоянии дать за оскорбительное для честного советского человека слово по его багровеющей морде. Причем с такой силой, что зубы изо рта посыпятся вперемешку со звездочками с погон.

Может какой-то стервятник из Северо-Атлантического блока спустил этих речей из-за личной

трусости и полной обречённости своей подлой службы, но наш помполит при таком монологе вспомнил, что за нам — Родина. А также — погранзастава с солдатами и автоматами. Как боец идеологического фронта он решил делом доказать, что не намерен терпеть грязного оскорбления страны в собственном лице. Если у защитника Советского Союза при одном хуке пусть здорового, но всё-таки босяка, полетят зубы со звездочками, где тогда говорить за враждебные крейсера и торпедоносцы, постоянно скалящиеся на нашу распрекрасную жизнь?

Так что помполит без второго слова взял и изрезал у Васьки на глазах его собственную лодку. Между нами говоря, Шнырь был такой мальчик, что вполне бы пережил измену родине, о чём грязно намекал помполит в самом начале их встречи. Но такой удар по собственному карману он пережить не мог: целая резиновая лодка за сорок рублей — это вам не штопаный гандон. И сколько бы материалов съездов и пленумов не знал на память помполит, его челюсти от этого легче не стало. Потому что, хотя погоны остались при звездах, а остальные двадцать пять зубов — во рту. Шнырь одним ударом сломал челюсть помполита у двух местах. И сходу понял, что теперь он точно превратился у диверсанта: с поломанной челюстью помполит не сможет действовать на нервы солдатам с прежней силой. Может быть поэтому Васька стал лупить начальника заставы с не меньшей силой, хотя этот защитник родины до шныревой лодки не касался.

Хотя начальник не успел заорать «Застава, в ружье!», многие и без того увидели, что война на их дворе уже началась. Шныря в конце концов одолели, связали собственной кодолой и взяли в плен, но ограждению заставы от этого легче не стало. Потому что локатор успели починить до того, как несколько солдат прибыли из лазарета во главе с командиром. А

Васька в беседе со следователем, который тоже любил рыбачить, откровенничал не только о заповедных местах, но и продал ему страшную военную тайну. Если один невооруженный Шнырь сумел нанести заставе такой урон, что бы случилось, не дай Бог, внезапно налети на неё пара диверсантов при заряженном пистолете? Следователь сделал страшные глаза и сообщил Ваське, что это будет иметь для него последствия Потому что помполит лежит в госпитале с трубкой изо рта, а погранцы-шаровики не сильно потеют на своей службе, в отличие от правоохранительных органов. После этого психологического хода следователя Шнырь растрогался и раскололся за то, что сам видел как ночной порой девки бегают до караульных прямо на вышку.

В своих письмах из зоны Васька Шнырь спрашивал следователя, как теперь клюёт рыба и за его здоровье. Мент показывал шныревские послания руководству и прослыл ещё большим мастером по работе с подследственными. Но это не помешало в своё время вычистить его из правоохранительных органов; следователь выжимал из хозяйственных дел такие бабки, что многие заскрипели зубами от зависти.

Изгнанный с нелёгкой службы у народное хозяйство бывший следователь Махонченко стал начальником причала. А перевоспитанный инвалид с детства Шнырь занял место боцмана под его чутким руководством. Освободившись от нелёгкой работы. Юрка Махонченко подошёл до грустного по поводу хорошей погоды при поганом самочувствии Цукера, предварительно послал Шныря не на, а совсем готовить катер.

* * *

— В принципе осталось только обеспечить отход. Но, честно говоря, меня беспокоит личность Быка.

Цукера в свою очередь гораздо больше волновали дрожащие пальцы и воспоминания о студенточке-вафлистке из кошмарных снов, чем Лёвка с его дурацкими выходками. Тем не менее, Колька успокоил Махонченко: если Бык начнёт себя неправильно вести, так сходу убедится, что на морском дне умеет лежать не только якорь.

Лицо Юрки просветлело и тут же нахмурилось. До него торопливо бежала новая партия рыбаков с удочками наперевес.

— Все лодки в море, ребята. Приходите завтра, а ещё лучше — через неделю. Полный завал...

До Махонченко приблизился один из рыбаков и ненароком предъявил ему уоровский билет и несколько бутылок коньяка в хозяйственной сумке.

— Чёрт с вами, — устало согласился Юрка. — Пойдёте на моём личном катере. Шнырь, ты ещё долго будешь возиться с мотором?

— Начальник, а как насчёт завтра? — начал фамильярничать посланец опоздавшего коллектива.

— Это сегодня я такой добрый, — откровенно зашипел Юрка. — А завтра у меня санитарный день. Так что или идите в море или на...

Пока Цукер лечил свои измученные нервы морскими ваннами и хорошим коньяком, Лёвка Бык таки вкалывал, как ломовик. Он сидел на тахте одного деятеля и с удовольствием смотрел, как тот покрывается липкой испариной, вертя перед собственным шнобелем золотой гроб. Деятель имел фамилию Бесфамильный и привычку прятать всяких интересных штучек вместо тех рублей, что намлачивал как только позволяет наша торговля. А наша торговля дает молотить башмалу с такой силой, какая может

лишь мечтаться всемирно известным посредническим корпорациям.

Но несмотря на эту самую силу небольшой гроб тянул столько, с понтом товарищ Бесфамильный, вкалывающий у госсекторе, может поднять с одного раза всю городскую выручку, включая частную торговлю коноплей.

— Вещь, конечно, интересная, — честно признался Бесфамильный Лёвке Быку. — Только сейчас я не потяну. Может, подождете пару месяцев?

Но ждать пару месяцев в планы Быка плохо укладывается. Потому что за это время золотой гроб можно продать раз двадцать при большом желании. Однако вслух Лёвка такие соображения не высказывает, а раскрывает на себе рот по поводу тяжёлого материального положения:

— Ой, мне так срочно надо лавэ, вы же понимаете... Иначе бы не продавал... Уникальная вещь, фамильная драгоценность, работа великого, хотя и неизвестного мастера. Поэтому о ней никто не знает и в розыске её тоже нет... Но раз такое дело, мне придется предложить это кому-то другому...

Бесфамильному почему-то не хочется, чтобы Лёвка Бык бегал по Одессе со своим золотом до других людей и он хорошо понимает: ювелирные гробы, как и настоящие, быстро находят себе хозяев. Потому как в Одессе полно людей, которые почему-то не хотят хранить в сберкассах то, что все остальные считают деньгами. Хотя эта встреча между деятелем Бесфамильным и Лёвкой Быком происходила в те времена, когда банки почти на шару пользовались сбережениями честных советских граждан, а не надёжно уничтожали их, как сейчас. Бесфамильный почти доверяет своему собеседнику, так как их свел букмекер Менакер по анонимной просьбе Антиквара. Менакер купил у Быка николаевские червонцы,

несколько раз повторив — Лёвка честнейший человек, потому что из двенадцати золотых десятков всего одна оказалась фуфловой. Поэтому Бесфамильный предлагает Быку бартер — часть денег и дорогое бриллиантовое кольцо за этот антикварный саркофаг. Так Бык травит баланду: ему не надо бриллиантов, а побольше денег, на что Бесфамильный отвечает — кольцо в принципе можно неплохо кинуть.

Если эта цацка такая дорогая, нехай товарищ Бесфамильный сам её кидает. Бык хавает в брюликах гораздо меньше, чем у золотых гробах, и боится с этим связываться, хотя уже ходит со статьей из-за продажи царских денег. Лёвкин собеседник догоняет: если он начнёт светить по Одессе своим кольцом, деловые люди подумают, что он обнищал до ручки и паперти. А ходить в районе магазина «Радуга» ему тоже непривычно.

Лёвке Быку было как раз привычно наблюдать за пробежками в районе этого магазина, но в его планы сейчас плохо укладывалось пополнение рядов городского любительского легкоатлетического общества «Бриз». И он несогласно мотает головой, с понтом его однофамилец при виде бойни. В конце концов из уважения до собеседника Бык дал себя уболтать выставить клиента на эти дешёвые бриллианты, лишь бы Бесфамильный скорее начал выкладывать остро необходимый Лёвке наличман. Работник торговли окончательно поверил в порядочность Левки, когда тот потребовал десять процентов от сделки по реализации такого дешевого, по сравнению с его гробом, соцнакопления Бесфамильного.

Через несколько дней Лёвка Бык притаскал к Бесфамильному жирного^[121] клиента до его бриллиантового кольца. Хотя Колька Цукер привык не покупать такие вещи, а вышаривать их от раззявистых

мадамов, он небрежно крутит у пальцев дорогую вещь и заявляет, как мечтал за что-то интереснее. Бесфамильный начинает срывать внутри себя нервы по поводу сделки, хотя внешне шутит и наливает коньяк. А хабло Цукер предлагает ему за кольцо поганые тридцать тысяч, с понтом торгует не какую-то подержанную вещь, а новенькую «Волгу» с гаражом. И чувствуем себя при этом великим пурицем, уверение глиста в жопе. В конце концов Бесфамильному пришлось согласиться с той ценой, что предложил несговорчивый Цукер, хотя мадам продавца несколько раз стонала и прятала зрачки за белками по поводу дешевизны сделки.

Но Цукер не такой наивный переть до чужой хаты с громадными сбережениями. Поэтому он просит Бесфамильного выйти с ним на улицу до машины, где лежит необходимая сумма. Так Бесфамильный почему-то забоялся высовывать свой шнобель за дверь, хотя на дворе стоял застой, когда по улицам стреляли изредка ночью, а не как кому захочется. Тогда за бабками отправился Бык, но вместо наличных притаскал до хаты каких-то посторонних личностей в строгих костюмах при галстуках. Они почему-то не обратили внимания на хозяина квартиры, а сразу обратились к Цукеру.

— Гражданин Ходжаев, вы арестованы, сопротивление бесполезно...

Хотя Цукера назвали посторонней фамилией, он поднял руки таким заученным движением, с понтом этот самый Ходжаев только и умеет делать фрагменты утренней зарядки. Бесфамильный даже не успел перебздеть, как тут же обрадовался, что менты забирают не его, к чему потенциально готов каждый торговый работник и простой советский человек, имеющий кучу прав, в том числе и на посмертную реабилитацию.

А эти самые менты ненароком сообщают хозяину квартиры, что рецидивист Ходжаев — торговец наркотиками и выясняют, не собирался ли гражданин Бесфамильный прикупить пару мешков героина? Бесфамильный честно колется, что он торгует кольцо, а не приобретает то, что ему заменяет телевизор. Солдаты правопорядка, соблюдая все формальности, тыкают разные бумаги под нос юридически грамотному хозяину квартиры, который твёрдо знает с детства; если менты чего-то захотят, значит имеют право. Так Юрка Махонченко умел пускать в раскол деятелей и покруче Ходжаева, который без протокола начинает ныть за вранье Бесфамильного.

Чтобы выяснить истину, Бесфамильного и Цукера грузят в оперативную машину с частными номерами и Шнырь уверенно рулит у милицию. А по дороге Махонченко случайно выясняет — у клацающего зубами Бесфамильного нет при себе основного документа. Машина тормозит и Юрка посылает Бесфамильного не на..., а домой за паспортом. Тот, перестав вхолостую стирать эмаль с зубов, спокойно бежит по улицам, радуясь, что не дал подписки о невыезде. И хотя этот деятель потом честно сидел у одного кабинета ментуры при паспорте, как приказал Махонченко, всё равно туда никто не вызывал, хотя деревянное кресло под Бесфамильным промокло насквозь. Когда этот штымп, молящийся только проканать за свидетеля и не больше, рискнул засунуть свой шнобель у дверную щелочку, так он увидел неизвестного мента при погонах и больше ничего интересного. А тех в штатском, что приходили днем, Быка с не полученными процентами от сделки и Ходжаева при бриллиантовом кольце в упор не наблюдалось даже после того, как Бесфамильный открыл дверь пошире.

После двух суток, убитых на семейном бесфамильном совете, торговый деятель попёрся до

ментуры по собственному желанию супруги. При этом Бесфамильный чистосердечно рассказал всё, кроме одного. Кто именно свёл его с этими аферистами, выманившими у несчастного Бесфамильного его фамильную реликвию, доставшуюся в наследство от бабушки. Потому что, если бы менты вышли на Менакера и тот открыл на себе рот за этого торгового деятеля и его способности, так менты бы по-быстрому вернули хозяину его золотое кольцо. И только потом конфисковали его вместе с другим имуществом в качестве благодарности родины за титанический труд Бесфамильного. Так что Бесфамильный отмазался и от зудежа жены, и сохранил свое деловое реноме, хотя сильно жалел за кольцом.

А менты стали вычислять, что это за конкуренты объявились в городе, которые начинают делать разгоны [\[122\]](#) у их потенциальной клиентуры. Однако больше активных действий со стороны разгонщиков не наблюдалось, и менты не собирались дальше делать из своей нелегкой работы артель «Напрасный труд».

* * *

Кела Гладыш с утра, как обычно, находился уже в том состоянии, когда с уверенностью мог смотреть сверху вниз даже на здание обкома. Он долго соображал чего лучше — попереть на рыбалку или немножко добавить. После долгих поисков по карманам из всех сбережений, Гладыш обнаружил золотой запас в виде трехкопеечной монеты. Даже в таком возвышенном состоянии Кела догонял, до стакана вина не хватает целых семнадцати копеек. Зато его социальных накоплений из кармана — как раз на

трамвайный билет и значит сама судьба командует ему вместо выпить схватиться за удочку.

На свой фарт Гладыш полировал до хаты за справками мимо винной будки, давно заменивший его компании клуб по любым интересам. Возле будки вместо знакомых десятилетиями рыл околачивалась какая-то неизвестная фигура при рябчике, с наслаждением вливающая в себя стакан вина небольшими коньячными глотками. Кела с сожалением посмотрел на стакан, сглотнул слюну и мужественно ускорил ход.

— Эй, кореш, — свистнула ему фигура в рябчике. — Выпить хочешь?

Кела на всякий случай оглянулся по сторонам, потом догнал, что это счастье выпало исключительно ему и никому больше. Он даже не оскорбился за такое безалаберное предложение, потому что кроме постоянно выпить ему ничего не хотелось в этой жизни, хотя газета с жирными пятнами на телевизионной программе под мышкой Гладыша постоянно намекала и за другие интересы советских людей.

После второго стакана вина Кела уже был готов отдать жизнь за своего нового кореша Петю, хотя об этом ему никто не намекал. А Петя оказался настолько порядочной личностью, что раскололся ещё на один стакан вина, пусть и отходил боком от пламенных объятий Гладыша, пристававшего к нему целоваться, как это учил делать по телевизору всю страну лично товарищ Брежнев.

За рыбалку уже не было желаний, Келе только и хотелось прилечь в тени будки с лучшим другом Петей, хотя тот явно твёрдо стоял на ногах. Несмотря на такие мечтания, Кела тут утвердительно качнул головой на вопрос за добавить и вместо лечь под будкой мужественно на неё оперся. Петя порылся в карманах и даже в носках, но ничего интересного там не нашёл.

— Бабки кончились, — доверительно поведал собутыльнику Петя с грустью в голосе, и Гладыш от такого огорчения друга уже был готов завывать не тише портового буксира. — Слушай, кореш, у меня есть такая клёвая мама, на пару ящиков хватит. Чёрт с ней, давай её кинем и будем гулять дальше.

За пару ящиков Кела был согласен кинуть, что угодно. И больше того, он бы согласился на это даже за бутылку, но его уже старый друг Петя не был мелочным. И он достал из широких штанин дубликатом настоящего гроба небольшую вещицу.

— Видишь, Кела, — подкинул её на ладони Петя, — настоящее золото, бля буду. Это такая же правда, как то, что мне через пару часов надо быть на лекции у консерватории. А то суки-студенты разбегутся, лишь бы не учиться от меня музыке.

Кела довольно качнул головой, потому что два часа — это тоже время. И пока студенты не захомутали друга Петю, надо по-быстрому пропить его цацку.

— Хотя бы за неё штуку, — учил ценообразованию собутыльника Петя. — Знаешь сколько это будет?

Петя долго шевелил губами на морде и куском кирпича по асфальту за будкой, а Кела выпученными глазами следил за такой высшей арифметикой.

— Это будет сто двадцать девять бутылок и пирожок с повидлом на закуску, — наконец подсчитал навар Петя, и Кела тут же понял, что его кореш не только известный музыкант, но и великий математик. Он даже не пытался прикинуть сколько дней жизни можно отдать на уничтожение такого количества драгоценной влаги, а просто и незатейливо заметил:

— Опять до белочки нажраться можно...

Хотя Кела был рыбак, но изредка он делал из себя охотника и ловил белочку^[123] перед посещением заведения, где ружье из бутылки заменяла капельница

у подушки. Кела почувствовал в ногах какую-то необъяснимую твёрдость. За сотню бутылок вина Гладыш был готов пилить хоть на край света, не то, что кинуть какую-то дешёвую цацку поблизости. Однако, он сообразил, что солнце уже высоко стоит над будкой, поэтому не нужно бить ноги. Когда тень от винарки падала на край лужи возле неё, начинал свой обход памятных мест хутора деятель Мужик-Говно, который помогал всем страждущим Мужик-Говно обходил все будки с тщательностью погранца при контрольно-пропускной полосе. И всё, что ни вытаскивали интересного ханыги из своих и чужих хат для обмена на денежные знаки, привлекало его внимание. Бухарики привыкли к своему благодетелю, перековывавшему, что придёт до их рук в звонкую разменную монету, а Мужик-Говно никому не признавался, как он правильно сделал, бросив работу на Центролите. Хотя ему обещали увеличить зарплату на целых десять рублей и повесить изображение морды на заводской Доске Почета. А когда Мужик-Говно подсчитывал барыши от возлебудочных сделок, он искренне жалел за нехватку слюны и что не завязал с общественно-полезным трудом гораздо раньше. Потому как у бригадира до него были постоянные претензии, а синяки^[124] молились на доброту Мужика-Говно, заменявшего им банковские кредиты, ломбард и комки, вместе взятые. При этом Мужик-Говно никогда не задавал своим пациентам нескромных вопросов, откуда они взяли то, за что получают наличными без ведомостей.

Когда Кела Гладыш предъявил Мужик-Говно эквивалент ста двадцати бутылок вина и пирожка с повидлом, солнечный зайчик, отразившись с крышки гроба, больно ударил по жадному глазу этого благодетеля всех синяков. Узнав за цену товара, Мужик-Говно аж вспотел, несмотря на то, что был в нейлоновой

рубаше у сеточку. Ну там тридцать копеек, целый рубль или, где наша не пропадала, аж гривенник, Мужик-Говно легко отрывал от сердца при торговых операциях. Но штука — это же сумасшедшие деньги, пять месяцев каторги на Центролите, мозгами двинуться. Хотя Мужик-Говно кипел паром, обзывая Гладыша комплиментами, до которых Кела привык с детства, скупщик всё равно догонял — золото стоит куда дороже. И при этом предложил в конце концов Келе целых сто рублей, но Гладыш держался неприступнее Брестской крепости и несговорчивей немцев при подписании Брест-Литовского мира. Гладыш открыл на себе рот, что золотой гроб — это не та паршивая икона пятнадцатого века на пальмовом дереве из осины, которую Мужик-Говно маклаковал у него пять дней назад за целых две бутылки шмурдяка. И хотя Кела успел немножко протрезветь, а Петю он давно потерял из вида, торг продолжался до тех пор, пока солнце не коснулось противоположного края лужи за будкой.

Мужик-Говно только из любви к Келе и своей сердобольности слетал до хаты и выдал Гладышу целых девятьсот рублей, а потом погнал от будки вместе с золотым гробом за пазухой, наваривая в мечтах крутые тысячи. От возбуждения по предстоящему доходу Мужик-Говно даже не заметил, как налетел на тихо стоящую среди тротуара фигуру.

— Ты, пидар, мудило комнатное, что глаза дома забыл? — тихо заорала извинения фигура и тряхнула Мужика-Говно за барки.

— Я дико извиняюсь, товарищ, — отцепил руки оппонента коллекционер золотых гробов от рубашки в сетку, прикрывающей запотевшую майку с двумя накладными карманами. Между нами говоря, Мужик-Говно тоже умел словесно постоять за себя, но сейчас базар плохо укладывался в его планы. Иди знай, вдруг

он закончится, чем обычно, ненароком нагрянет милиция, а потом выскакивай из отделения хоть и без пятнадцати суток, но и золотых сбережений на кармане майки.

Прохожие успели образовать из себя небольшой амфитеатр с удовольствием, предвкушающим дальнейших событий.

— Хорошо, товарищ, — ласково похлопала фигура в галстук Мужика-Говно по груди в знак примирения. — Только в следующий раз, пожалуйста, будьте повнимательнее.

Толпа, обозлившись от этих слов, недовольно рассеялась по своим делам, сильно огорчаясь, что драки не будет. Мужик-Говно побежал дальше, а фигура в галстук неторопливо дошла до новоявленного кельного кореша Пети и показала ему свои ухоженные цырлы.

— Даже не дрогнули, — удовлетворённо заметил Цукер, рассматривая на свои пальцы. — Как в аптеке.

— Я выставил этому козлу три бутылки вина, — поделился Шнырь за свои затраты по делу. — Теперь синий поцтак нажрётся, аж приятно представить.

* * *

Шнырю вместе с Цукером при золотом гробе было бы ещё гораздо приятнее, если б они знали, каких убытков государству задали спаиванием Гладыша. Хотя всю ночь бушевал ливень, Кела, несмотря на грозные природные явления, тайком от супруги уничтожил свой гонорар за реализацию гроба, надёжно закрывшись от её характера в сортире. Наутро мадам Гладыш, так и не прорвавшись в уборную, свалила на работу, напоследок грозно ударив ногой по двери, за которой отсиживался

сильно готовый Кела. А когда по его подсчётам жена приступила до трудовых свершений, Кела допил последнюю бутылку, выполз из своего дзота и вспомнил за рыбалку.

Гладыш выкарачился на двор с ног до головы в удочках и закидушках, но дальше огромной лужи не отправился. Он забросил у неё sprawy, но в этот день, видимо, караси плохо реагировали на дождевых червей. Клева не было и Кела стал прикармливать место ловли. И хотя потом Кела отчаянно полосовал лужу спиннингом, щуки почему-то тоже не проявляли до его блесны интереса.

Телефонный звонок оторвал мадам Гладыш от чашки чая и трудовых подвигов.

— Товарищ Гладыш, — беспокоил её один из соседей. — Ваш Коленька золотой опять ловит белочку среди двора. Правда, теперь не на дереве, а в луже...

На очередное лечение Келы родное государство истратило столько денег налогоплательщиков, сколько ушло вхолостую личных сбережений у Мужика-Говно. Потому что этот деятель мацал свой карман на майке второй день подряд, но, кроме табачных крошек, прокомпостированного трамвайного билета и четырех рублей, другого золота всё равно не обнаруживалось.

* * *

Игорь всю жизнь был таким влюбчивым, что от этого страдали все, кто хочешь, кроме него самого. И хотя он менял невест чаще носков, проштамповать постороннюю фамилию в паспорте вовсе не спешил. К созданию семейной жизни Игорь, несмотря на молодость, относился серьёзно. И другие мамы вполне могли ставить своим пацанам его в пример, если

бы не противное поведение Игоря в быту и его кликуха Волк.

В первой половине дня Игорь вёл себя гораздо нормально. Зато вечерней порой прямо-таки преображался из себя, хотя клыки из его рта на морду не лезли, Волк вместе с корешами наводил шорох на улице и при этом чувствовал себя королём хутора только потому, что ему никто ещё серьёзно не набил морду. Чем теснее жались прохожие до стен при встрече с этой компанией мальчишей-плохишей, тем наглее они себя чувствовали. И пугали всех подряд разными металлическими железками, потому что внутри себя бздели против настоящей силы не хуже других. А когда вечерами до их фарта попадалось мало прохожих, это шобло одесситов в первом поколении ломало скамейки на бульварах и мазало краской скульптуры, если не отбивало им куски конечностей.

Зато утром Игорь преображался из Волка до Ромео и клеил подруг по всему городу от своей необъятной любви. Тёлки часто отвечали Игорю взаимностью, потому что морда у него была прекраснее мусорного бака и он складно наловчился гнать подряд красивые слова. Игорь пёрся со своей очередной любовью на природу, постоянно объясняясь ей во внезапно вспыхнувших чувствах, сравнивая тёлку со звёздами, цветами, птицами, рыбами и певицей Понаровской. При этом божился, что такие сильные чувства нахлынули на него впервые и тащил разомлевшую подругу в гущу кустов парка Шевченко. Дальше всё было делом накатанной техники. Пылающий от страсти Волк стаскивал с тёлки джинсы и ставил её в наиболее подходящую для природы позу, чтобы девушка не простудилась голым задом от грязной травы. А потом по-быстрому хватал её джинсы и тикал с такой скоростью, будто эта подруга имеет шанс превратиться

в волкодава и гнать за ним пусть без трусов, но зато сильно быстро.

Так если не все Игоря такие волки, разные девушки тем более не всегда имеют интересы сбегать на блядки в парк культуры и отдыха, хотя, как утверждают знатоки, танцплощадка «Огни маяка» была построена именно для этих целей, если не считать подраться. Некоторые тёлки наотрез отказывались топтать за Игорем в кусты, а тем более добровольно снимать джинсы. Несмотря на такое неконтактное поведение, Игорь не действовал силой и даже не пытался намекать за любовные действия, при которых джинсы на попе сексу не помеха. В этих случаях Игорь с нездешней силой продолжал гнать пену насчёт своих высоких чувств, сравнивая свою любимую не то, что с какой-то Понаровской, а с самой многостаночницей Дарией Петровной Синициной, украшающей своим изображением доску Почета Жовтневого района города-героя. И в конце концов раскалывался: если новое свидание не состоится, так он с горя может наложить на себя не только руки, но и могильную плиту на любом из кладбищ, потому что имеет блат даже там. А чтобы девушка не передумала прийти до него в назначенный день, он, шутя, снимал с неё одну из сережек и торжественно обещал поставить это золото назад в ухо во время следующего свидания.

И хотя на следующее свидание перлись без традиционных опозданий все любимые Игорем тёлки поголовно, но своего Ромео они хрен могли найти в назначенном месте, даже если бы вооружились перископом на подведённых глазах вместо презервативов в сумочке и одной сережки в ухе.

Игорь понимал, что с этим делом рано или поздно придётся завязывать, но он решил для себя: лучше позже, чем никогда. И продолжал вести себя так, с понтом решил поснимать сережки и джинсы с одесских

тёлок по второму разу. В глазах своей компании Игорь выглядел настоящим мужчиной не только благодаря своим увлечениям, но и потому, что умел упорно бить ногами по бульварной скамейке, пока она не поломается, а также громко гнать матюки среди ночных улиц. Хотя реализацией джинсов и сережек занимался в тайне от своей банды «Чик-чирик», чтобы не делится добычей. А божий одуванчик^[125] барыга мадам Степовая, которая в своё время уверенно гоняла на гоп-стоп, скупала у Волка товар на корню и при этом не задавала дурных вопросов: где он находит столько одноухих джинсовых тёлок? Волк себе спокойно пёрся домой и копил деньги в ящике стола на покупку мотоцикла «Ява», чтобы гонять среди города и вырывать сумки из рук разновозрастных невест.

Вот такого мальчика, круче которого, по мнению лохов, бывают только яйца, дёрнул среди улицы для разговора выставленный гражданин Бесфамильный.

Бесфамильный окончательно догнал, что ментам легче завести на него уголовное дело, чем найти пропавший бриллиант на кольце. Он расстроился будто на дворе ещё не лето, а до него уже приехали родственники и вместо ласкового солнца постоянно светит только 119-я статья. Тем более, что жена всю дорогу выматывала у Бесфамильного остатки нервов, желая ему поскорее стать похожим на того золотого сувенира, под который у Бесфамильного выгребли её бывшую собственность. И Бесфамильный, регулярно смотревший «Следствие ведут знатоки», почему-то решил не поехать до Москвы, куда постоянно вёз свою головную боль советский народ по любому поводу, а обратиться до малышей-плохишей со своего хутора.

— О чём речь, дядя, — не показывал радости за немножко заработать Волк. — Моя бригада способна до

многого. Мы устроим им резиновые морды. Мы сделаем их похожих на лебедей: посадим голыми жопами в мокрую воду. Мы такие грозные, самые коневые^[126] на том хуторе. Они принесут вашу блямбу^[127] в зубах, дядя, век свободы не видать, и будут громко плакать.

Плохиши сходу выяснили у Бесфамильного, кто подвёл до него такого клёвого клиента, что на его запах неприятности слетаются безо всякого вызова и попёрлись на ипподром выяснять отношения с букмекером Менакером. При этом плохиши чувствовали себя настоящими защитниками угнетённого народа и свято верили, что идут защищать справедливость, с понтом им выпала честь таскать при себе не финки и кастеты, а чекистские ксивы.

Волк со своими хулиганами, которые поканывали за блатных только в перепуганных глазах Бесфамильного, припёрся до лошадячих бегов у самом разгаре этого события. Судья шваркнул в колокол, компьютеризованная система АСУ-тотализатор сделала из себя нерабочий вид, а кассиры вместо того, чтобы продолжать принимать бабки у толпы, посылают многочисленных игроков дальше их поганых ставок. Так если государство не хочет дополнительно заработать и составить конкуренцию букмекеру Менакеру, тот как раз хорошо себе понимает, что это государство способно конкурировать с частным сектором только в одни ворота. У Менакера нет кассиров, программ, этой самой АСУ-сосу и даже подков до рвавшихся к победе лошадей при низкорослых жокеях. Зато в отличие от государства у него голова в шляпе на плечах, а не то, что в штанах лежит на седле, и главное — букмекер всегда отвечает деньгами за свои действия перед советскими гражданами. Поэтому Менакер спокойно принимает ставки у опоздавшей до касс толпы, а потом безо всякого компьютера и квитанций

раздаёт выигрыши, не намекая тут же заполнять декларацию за доходы.

Плохиши на свою голову попробовали потревожить Менакера среди его титанического труда. Так разве тоттошникам есть какое дело до страданий Бесфамильного по поводу знакомых их любимого тотализатора Менакера? Ни разу нет. Зато их сильно заволновало, что какая-то босота начинает дёргать букмекера по поводу мелких пустяков, когда на кону лежат десятки тысяч. Бесфамильный, конечно посчитал плохишей сомой настоящей благодатью, потому что они шарились где попадя и извергали из своих внутренностей страшные непонятные слова перед тем, как скопом налететь на чью-то морду. Так тоттошники этих слов знают гораздо больше и прекрасно догоняют, что эта босота, способная только драть друг друга у элементарную игру очко, даже не хакает, какую тонкую игру по лошадям она пытается сорвать через свои нудности. И хотя плохиши галопом попёрли на тоттошников, тем некогда было объяснять разборщикам, что пока они здесь вытворяются, лошади бегут с прежней силой мимо неплохих бабок. Поэтому оборзевших писюков^[128] Бесфамильного толпа просто выкинула со своего рабочего места без долгих разъяснений за их некорректное поведение у общественном месте и угроз привлечь до них внимание органов правопорядка.

Пока Плохиши счищали грязь с одёжи и уговаривали сами себя какие они грозные, а коневее их на этом хуторе не бывает, потому что замочить весь ипподром вместе с лошадьми для таких великих авторитетов — не хер делать. Менакер пришёл до себя и приступил к работе. Он выдал толпе тоттошников, чьи горящие глаза при большом желании могли заменить прожектор, по столынику на рыло. Но не за доблестный труд по

очистке территории от всякого постороннего смиття, путающегося под ногами с парой пустяков, а потому, что эти громадные бабки надо по-быстрому ставить на лошадь по кличке Алмаз. Хотя тоттошники прекрасно догоняли, что этот Алмаз быстрее других четвероногих может лидировать только в гонке до живодерни, они прекрасно схавали у какую игру вступают. И заблокировали своими телами все кассы ещё надёжнее, чем Матросов амбразуру пулемёта. А что делают все остальные фраера, которые припёрлись сюда спалить свои бабки, потому что советская власть разрешает вести катку только с собой на ипподроме, грозя уголовным наказанием за организацию всяких рулеток и прочих барбутов? Фраера лупят своими зыркалами по табло тотализатора и давке у касс. А это самое табло честно сообщает публике, что в очередном заезде повышенным спросом пользуется Алмаз. Так о чём это может говорить, кроме как о ставить бабки на Алмаза, чтобы озолотиться? Но как это сделать, когда гораздо легче нелегально пробиться через границу государственным самолётом ТУ-134, чем до кассы собственной жопой? Хорошо, что на ипподроме есть и другие букмекеры, кроме Менакера. И за ваши бабки они готовы принять ставки, хоть на Алмаза, хоть на Унистаза. Тем более, табло фиксирует такой коэффициент выигрыша, что даже округлившись от возможности хорошо выиграть шнифты начинают принимать у фраеров квадратные формы. А букмекеры, судорожно беря у них лавэ, прекрасно понимают, что скорее будет выполнена Продовольственная программа, чем этому доходяге Алмазу светить добежать до финиша впереди других конкурентов, пусть даже жокей в синем картузе и трусах с дыркой ускоряет его пейс скипидаром.

Букмекер Менакер в этом заезде почему-то вспомнил, что тоже имеет человеческие слабости до игры. Он перестал корчить из себя механизм по раздаче выигрышей и рискнул поставить хороший куш на жеребца по кличке Гром, который никогда в особых фаворитах не канал. И надо же случиться такому фарту, что Менакеру не только не намяли бока плохиши, но этот самый Гром прибежал до финиша первым, а потом ещё долго оглядывался: когда это у конце концов до него доберётся лидер по всем статьям Алмаз, которому бы больше подошла кличка Махан^[129].

Менакер спокойно подсчитал, что в этот день заработал ровно в три раза больше, чем ипподром со своими порядками, хотя все новейшие компьютеризованные системы букмекеру заменял потрёпанный блокнот за пазухой.

Потом этот деятель вспомнил за дурацкое поведение молодых людей, действующих от имени нахала Бесфамильного, и сделал через две копейки звонок из телефона-автомата.

Плохиши уже успели пробухать аванс, слупленный с Бесфамильного за свой нелёгкий труд и спокойно околачивались на родном хуторе, вытворяя военные подвиги. Когда они почистили пару ханыг и набили дыню какому-то очкарику предварительно расшугав бикс, прущих домой из медучилища, то сходу посчитали этот день не зря прожитым. И как-то незаметно для себя перестали думать за страшную месть ипподрому со смертельными исходами. Плохиши сидели на скамейке и выли под расстроенную гитару песню за Колыму, имея друг друга исключительно по кличкам — Тигр, Волк, Вепрь и так далее по зоопарковскому списку. У плохишей были такие грозные кликухи от

того, как они сами себе их приклеили, а вовсе не потому, что привыкли ссать, где попадя. На мордах этого городского зверья стояли выражения, с понтом император Наполеон бегают у них в шестёрках по завоеванию мира.

И тут до плохишей подошёл один себе человек и начал молча слушать чего они изображают своими гнилыми голосами. Плохиши привыкли до того, что при виде их компании все почему-то переходят до противоположного тротуара, и поэтому растерялись. А прохожий, от которого несло кисляком не хуже, чем от них, спокойно почесал тельняшку на груди и тихо заметил этой компании — если ещё раз кто-то сцинкует^[130] возле ипподромного деятеля, так всё кодро может уже бежать со скамейки в поисках деревянных макинтошей.

От такой борзости плохиши перестают вокалировать на нервах усыпающей улицы и сыпят страшными угрозами, шаря по собственным карманам. На что человек в тельняшке поднял руку и сказал: «Ша^[131]!». А потом добавил:

— Права качаете, чувырлы^[132], приблатнёнными кидаетесь, фраера захарчёванные^[133]. Когда на мене шельму^[134] шили, на вас болты драчили, хлюзды^[135] мелкие, маргаритки^[136] пробитые. Будете у меня гарнир хавать^[137] и галить^[138] вперемешку, падлы батистовые^[139]. Так что вы здесь дуру не гоните, варганку не крутите^[140], баллоны не катите, бо очко^[141] у вас не железное — в три свистка запаяю, парашники^[142]. Будете баки вкалчивать своим мамкам — баллалайкам^[143] и папашкам — есикам^[144], плашкеты^[145] мантуленные^[146]. И вякнете тому, кто дал прикол на наколку^[147], рвань дохлая, ещё раз рыпнется, петух гнойный, клоуна сделаю^[148]. С кем, гнида,

кены^[149] сводить решил, козёл^[150] пеженный, пидар вольтанутый. А вы, отпарафиненные^[151], из себя гиль^[152] не стройте, сдайте рога в каптёрку^[153]. Фуцан щекотнулся^[154], когда жаренный петух клюнул, Буль^[155] харенный^[156], в духовку^[157] задутый. Ещё раз горбатого из себя слепите, помела^[158] оборву, локаторы^[159] отклею. Усекли, короеды^[160]?

Пускай плохишей никто специально не учил этих слов, они быстро перестали мацать железо на карманах, качнули головами, потому что слушали мужчину с большим интересом и вниманием, чем ещё недавно своих учителей в средней школе. И сходу поняли, что перед таким с виду спокойным человеком может держать стойку^[161] только последний дубарь. Хотя они и не знали, что у своё время этот пассажир в тельняшке героически обломал самый настоящий локатор, перед которым их собственные не проканывают. Поэтому Тигр, Вепрь и прочий зоопарк сдулся штормом со скамейки и иноходью погнал колоться Бесфамильному, что ему пристроили доктора^[162] такие люди, перед которыми даже милиция — и то может сказать пас. А грозный Волк бежал впереди стаи, наглядно доказывая кого кормят ноги.

И хотя милиция не выходила из игры при виде Шныря, а без особых забот окунула его до зоны, Васька уверенно уселся в подъехавшую до него машину. Тем более, что её рулял бывший мент Махонченко.

Юрка посмотрел на линияющих по-быстрому плохишей и спросил у своего подчинённого крестника Шныря:

- Кент^[163] фуфла не гонит?
- Или, — серьёзно ответил Васька.

Цукер притаскал до Антиквара его честную долю по поводу бриллиантового кольца, но Максимов всё равно недовольно покачал головой.

— Сахаров, вам пора перестать баловаться. Собрали немножко капусты — и хватить тянуть судьбу за хвост. Или тигра за усы, как вам больше нравится. Этот гроб пора сплавлять.

— Антиквар, вы же сами говорили ещё двадцать лет назад: надо выжимать максимум из ситуации.

— Что было, то было, Сахаров, теперь другие времена.

— Ага, развитого социализма. — поддакнул на всякий случай Цукер, почему-то с содроганием вспомнил доктора Брежнева и невольно брякнул:

— Социализм — это учёт!

— Конечно, Сахаров. А зрелый социализм — это когда учитывать ещё хочется, а жрать уже нечего, — почему-то раздражённо заметил Антиквар. — Судя на вас, Сахаров, со жратвой проблем не возникает. Но неужели вам хочется начать учитывать исключительно неприятности? Я имею в виду подбудочные подвиги...

— Антиквар, меня с детства учили слушать старших. Вы меня убедили, Максимов. Я скажу ребятам — время дешёвых штучек ушло. Мы переходим до серьёзной работы. Когда клиент будет в городе?

— Через три дня. — спокойно заметил Антиквар. — И нам есть что обсудить, Сахаров. А Лёвка Бык пускай себе думает, что он командует операцией. И делает так, как я скажу. Вы меня хорошо поняли, Сахаров?

— Иф, — ответил почти по-английски Колька.

Антиквар впервые за весь день улыбнулся и заметил:

— Я вижу, вы меня действительно хорошо поняли...

Юрка Махонченко небрежно развалился на корме и лениво смотрел в сторону турецкого берега. Васька Шнырь еле шевелил веслами под солнцем, изнывая от своей нелегкой работы. Внезапно глаза Махонченко сверкнули, он оживился и заорал.

— Давай!

Шнырь налёг на весла с такой силой, будто за ним погнались катера пограничников. И без усталости промолотил почти двести метров, затабанив^[164] возле одинокой головы неподалеку от буйка.

— Гражданин! — заорал голове Махонченко, вертя голую руку с красной повязкой, — немедленно на... тьфу! В лодку!

— А... чё... такое? — прерывисто выдохнул пловец.

— Чё такое, — передразнил его вспотевший Шнырь. — Говно редкое! А ну, залазь через борт, если не хочешь иметь неприятностей ещё больше, чем ты уже ёзаработал.

Купающийся гражданин с детства был приучен к советскому образу жизни: раз орут, значит имеют право. А также он привык выполнять всё, что от него требуется, даже если оно плохо укладывается со здравым смыслом. Поэтому купальщик подтянулся на руках, красных, как цвет зари, и цепких, будто клешни благополучно уморенных одесских крабов.

— Нарушаете границу заплыва, гражданин, — спокойно заметил ему Юрка, — жизнью рискуете из-за пустяков. Непорядок...

— Виноват, — по-военному ответил гражданин в семейных трусах.

— Ничего, — едко бросил Васька, — пятнадцать суток искупят твою вину перед родиной, будь спок.

— Какие пятнадцать суток? — перебздел отдыхающий.

— А вы что думали? — ехидно спросил Юрка. — Я просто так здесь на лодочке катаюсь? Государство мне доверило, и я не подведу. Это ж форменное хулиганство нарушать границу заплыва. Потом вы начинаете тонуть, а стране от этого одни убытки. Или вы забыли, что ваша жизнь принадлежит родине, гражданин? И если родина прикажет её отдать, что вы будете делать, когда захлебнётесь на дне водой? Как станете отдавать долги вскормившей вас стране? То-то же.

— Иди знай, — вспомнил свою беседу с помполитом Васька. — Может ты не просто за границу заплыва пёр, а напрямки до Турции собрался. Тогда тебе пятнадцать суток за счастье засветит.

— А нельзя ли как-то... этого... — начал выдавливать из себя гражданин с побелевшей, несмотря на загар краснокожего, мордой.

— Да, — твёрдо сказал Юрка. — Можно ещё штраф до пятнадцати суток и сообщение на работу о вашем недостойном поведении во время отдыха. Из турбазы, само собой, выпишут. Это если мы промолчим за потуги по измене Родины. Потому, чувствую, это ты с виду — поц, а внутри вполне советский человек.

Гражданин хлопал глазами, будто нахвтался ими медуз под водой.

— Для меня буюк — это как граница! — зло выкрикнул Шнырь, опять вспомнив свои бои на заставе. — Кто её переплывет — нет прощения! — и с новой силой лёг на весла по направлению к берегу.

— Ребята! — взмолился отдыхающий. — Я больше не буду. Три метра от берега и не дальше. Если на работу сообщите — я ж зимой в отпуск пойду. С квартирной очереди передвинут — ещё пятнадцать лет

ждать буду. А у меня детей трое. Ведь премии годовой лишить тоже могут... Если не посадят...

— Ишь, детей вспомнил, — чуть ослабил ход Шнырь. — Что ж ты их не вспоминал, когда за буёк пёр, границу нарушал, жизнью рисковал? А теперь мы за тебя отвечать должны, головы свои ставить?

— Ладно, боцман. — примирительно сказал Юрка. — Детей жалко. Укажешь в рапорте — попытка нарушения границы заплыва, а не родины, проведена воспитательная беседа. Вместо пятнадцати суток или другого срока — день трудового участия в субботнике...

— Спасибо, ребята, — растрогался отдыхающий, подтягивая мокрые трусы на поясницу.

— Повезло тебе, что мы добрые, — устало сказал Шнырь. — Но только заради детей.

— Товарищ Воловский! — гаркнул Юрка, и Лёвка недовольно вылез из тени, прихлебывая на ходу тёплое пиво, — обеспечьте гражданина фронтом работы.

— Есть обеспечить, — икнул Воловский и присоединил пассажира в семейных трусах до трудовых свершений причала, над которыми уже потели на солнце несколько нарушителей.

— Ну что? — спросил Юрку Шнырь.

— Капшо! — довольно потянулся Махонченко и добавил своё любимое слово, — ... через плечо, и кончик в ухо для прочистки слуха. Ты что не видишь, забор красить некому? Надо ещё пару человек.

— Понял, — сказал Шнырь и налёг на вёсла до сиротливо качающегося буйка, который на всякий случай был установлен чуть ближе к берегу, чем другие.

Причал сверкал чистотой и порядком, как невеста перед первой брачной ночью. Юрка Махонченко побрился два раза, а Шнырь нацепил на себя новый рябчик, который берёт до следующего сезона, чтобы

отдать за шесть бутылок водки. Хотя в эту ночь через свежеевыкрашенный забор почему-то не лезла ни одна рожа при удочке. В гостеприимно распахнутые ворота причала припёрлась толпа рыболовов с одинаковыми сумками, прутами без лески, прическами и возрастами.

— Мы тут с товарищами рыбу половить хотим, — заметил начальнику причала один из них.

— Видите ли, товарищи, — не послал рыбаков традиционно на, а начал спокойно объяснять Махонченко. — А сейчас только половина восьмого. Через полчаса я позвоню на погранзаставу, если она даст «добро», тогда пойдёте на... на лодках ловить рыбу.

— А вы позвоните сейчас, — впервые в жизни по требовал чего-то от Махонченко один из клиентов причала.

Вместо того, чтобы послать его на и не разнюхав есть ли у рыбаков при себе коньяк. Юрка почему-то покорно пошёл до телефона. И случилось невероятное: застава разрешила выход в море не просто раньше времени, но и с первого запроса причала.

— Товарищи, — обратился к рыбакам Махонченко. — Приготовьте ваши документы.

Толпа одновременно нырнула в нагрудные карманы, а затем передумала и достала из боковых общегражданские паспорта.

— В лодке по два человека, получите у боцмана кодолы, пайолы, якоря и весла, — по быстрому сделал обязательную инструкцию начальник причала. — Выбирайте лодки.

— А чего тут выбирать? — спокойно заметил старший рыбак, — нас как раз на все лодки. Все, что есть на вашем причале.

— Вы знаете, — замялся Юрка. — Меня предупредили, что будут ещё гости, просили зарезервировать одно плавсредство.

— Эти гости пойдут на катере, — решил за Махонченко собеседник.

Через несколько часов после того, как рыбаки вышли в море и окружили плотным кольцом все лучшие места напротив Юркиного офиса, а некоторые даже попытались ловить рыбу, на причале появился ещё один клиент. Он шёл в ярко-красных длинных шортах, при фотоаппарате на груди и сопровождающим с пучком удочек в чехле. За ним еле успевала по песку дама, габариты которой весельная лодка выдержала бы с большим трудом.

— Гуд монинн! — сказал этот рыболов в необычно чистой одежде, улыбаясь Шнырю и Махонченко одновременно.

— Господин Полонски рад видеть вас, — перевела дама и перевела дыхание. — Он страстный рыболов. Но главное — друг Советского Союза. Ему давно мечтается половить рыбу в нашем прекрасном Черном море.

— Вот хронцы язык придумали, — брякнул Шнырь, улыбаясь на всю катушку. — Всего пару слов сказал, а сколько в них влезло.

— Мистер Махонченко и мистер Шнырь рады познакомиться с вами, — перевела гостю на родной язык эти слова дама, уловив взгляд сопровождающего. — Они счастливы вместе с выдающимся борцом за мир господином Полонски провести этот день.

Господин Полонски распаковал свой чехол, услужливо протянутый молчаливым сопровождающим, и Шнырь вылупил глаза на никогда не виданные снасти. Сопровождающий, пользуясь тем, что иностранный рыбак сидел на корточках, сделал страшные глаза Шнырю.

— Подумаешь, цаца, — заявил тут же Шнырь. — Мы на такие sprawy уже десять лет не ловим. Устарели

потому что.

Катер лежал в дрейфе, а наша рыба, как назло, не клевала на капиталистические приманки. Мистер Полонски что-то пробормотал.

— Чего ему надо? — спросил Махонченко у переводчицы.

— Спрашивает, почему только мы на катере, а остальные на вёсельных лодках? — озабоченно бросила дама; молчаливый сопровождающий делал из себя вид, с понтом его всё это не касается.

— Ну ясное дело, не для того, чтобы труднее было за границу смыться. Кому она нужна, одни страдания, — объяснил Юрка. — Просто наши люди любят старинные вещи и на них выходить в море, чтобы спортивно погрести руками без мотора. Для улучшения своего здоровья на благо любимой родины и коммунистической партии. А также мирового революционного движения за освобождение недоразвитых стран от ига империализма.

Услышав перевод, мистер Полонски довольно качал головой, но рыба от этого клевать не начала. Сопровождающий смотрел на Махонченко, с понтом он был диверсантом, как боцман Шнырь в своё время.

— Боцман! — со страшной улыбкой на лице командовал Юрка. — Давай самодуры.

Васька Шнырь помог интуристу прицепить до его устаревшей удочки «Дайва» самодур, снятый на глазах сопровождающего с современного бамбукового прута.

— Будем ловить ставриду, — заявил боцман и самостоятельно перевёл: — Фишер ставридер.

Иностранец опять забормотал что-то на своём.

— Мистер Полонски хотел бы половить скумбрию. Он недавно читал в турецком путеводителе, что скумбрия — самая распространённая рыба в Чёрном море.

— Та зачем ему эта скумбрия? — развёл руками Махонченко, — её таки-да в море навалом. И ловить её настоящему рыбаку не интересно. Потому что эту скумбрию любой дурак поймает. А вот ставрида — это высшее рыболовное искусство. Поймать ставриду — это класс. А скумбрию любой пацан может ведрами черпать. Зачем мистеру Полонски ловить такую распространённую в турецком путеводителе рыбу? Лучше попробовать более редкую.

После того, как переводчица справилась со своими обязанностями, мистер Полонски зажёл свои глаза по поводу нетерпения изловить редкую рыбу ставрида.

— Ставриду надо ловить в полводы, — объяснял Шнырь, цепляя до справ тяжелые скумбрийные грузила и показывая технику ловли.

Иностранец оказался фартовым. Через несколько минут он извлёк из воды самодур с четырьмя стограммовыми рыбками.

— Есть почин! — радостно заорал Васька. — Это вам не скумбрия дешёвая. Десять ставрид — пятнадцать копеек, а эту скумбрию вообще никто не продаёт.

— Мистер Шнырь говорит, что давно не видел такого удачливого рыболова, как вы, — перевела дама.

Рыбалка пошла. Сопровождающий с видом немного тоже азартно снимал с крючков извивающееся серебро, издавая восторженные звуки, и даже дама, несмотря на габариты, ловко управлялась с удочкой.

— Сейчас мы пиво принесём, — заметил Юрка, но к его словам уже никто не прислушивался.

— Слушай, начальник, ты прикидываешь, если самодур вдруг оборвет какая-то пеламида, — озабоченно сказал Шнырь.

— Какая пеламида, — удивился Юрка. — Она эмигрировала к лучшей жизни еще раньше лобана. Так даже если бы эта пеламида была, наверняка, здесь на всякий случай по дну шарят аквалангисты. Да и ловят

они в пол воды, — и Махонченко достал из импортного ящика, выданного ему под расписку, несколько запотевших банок.

— Шнырь, не облизывай губы, а отнеси это гостям. И не вздумай рассказывать, что по дороге одна банка упала за борт, — предупредил боцмана его начальник.

Катер медленно дрейфовал, а вокруг него небольшая волна качала лодки, плывущие параллельным курсом.

Мистер Полонски только и успевал вытирать руки одноразовыми платками, аккуратно бросая их в ведро с пустыми банками из-под пива. Дама от пива отказалась, а сопровождающий, сняв с крючка ставриду, почему-то вытирался об свои брюки, с понтом задался целью лишний раз доказать пролетарское происхождение, хотя пива тоже не любил.

Заграничный гость что-то протянул в сторону приковавшего свой взгляд до банки Шныря.

— Мистер Полонски спрашивает, вам тоже не нравится этот напиток?

— Та на кой он мне надо, — спокойно ответил Васька, жадно облизывая губы. — Я его вчера перепил просто. Тридцать банок за один вечер. Теперь спокойно смотреть не могу, как другие мучаются.

Когда вся эта компания вылезла на берег, донельзя довольный мистер Полонски выдал на прощание целую речь.

— Наш гость счастлив, что побывал на такой великолепной рыбалке, — переводила дама, бросив взгляд на губы расшифровывающего английскую речь про себя сопровождающего. — Он получил удовольствие от того, что ловил редкую ставриду. Даже на огромных турецких базарах он не видел этой рыбы. Мистер Полонски был рад познакомиться с гостеприимными одесситами и просит принять у него на память сувенир.

Интурист протянул Шнырю и Махонченко два японских телескопа с катушками.

— Беру, но только, чтобы гость не обиделся. Потому что мне эта допотопная конструкция даром не надо, — жадно схватился Шнырь за невиданный им углепластик, заодно предвкушая бартер на пару ящичков водки.

Юрка Махонченко тут же блеснул ответной речью.

— Мистер Махонченко просит принять знаменитый одесский самодур. Приобрести его — мечта рыболова в любой точке земного шара.

Несмотря на то, что мистер Полонски был страшно доволен подарком. Юрка на этом не остановился, презентовав по самодуру с тяжёлыми скумбрийными грузилами даме и сопровождающему.

Интуристовская компания уже давно смылась с причала, а Юрка с Васькой ещё тихо хрипли в споре. Васька доказывал, что удочки можно отдать за четыре ящичка водки, а Юрка сильно в этом сомневался. Сомнения Махонченко подтвердил руководитель группы рыболовов, вернувшихся к берегу на деревянных лодках. Он поблагодарил Юрку и Ваську за образцовый подарок на причале и содействие, попутно отобрав у них подарки мистера Полонски.

* * *

Лёвка Бык не уставал кипятиться на Цукера.

— Цукер, ты видно-таки поехал с мозгов, хотя дрожь слетела с твоих пальцев. Но когда ты научишься думать своими дурными мозгами? Или твой перец на полшестого не дает этого делать? Я же пригласил тебя в долю, а что ты вытворяешь? Почему ты имеешь компаньона дурнее себя, Цукер? Я думал, ты

порядочный вор. А ты хуже фраера. Зачем вместо денег ты мне подсовываешь эти доллары, что я с ними буду делать? Эти доллары еле-еле продаются по руль восемьдесят у Красной. Иди знай, пока я начну их торговать, они упадут ещё ниже. С тобой — сплошные пролёты, Цукер. Юрке с Васькой хер бы рискнул всунуть этих грандов, рублями рассчитался. И правильно, они б тебе быстро глаз на жопу натянули за такую борзость. А мне, выходит, можно подсовывать всякое фуфло.

— Не гони пену, Бык. Сегодня любой фарцовщик возьмет у тебя баксы оптом по одному и семь. И хорошо зарабатывает. Хочешь, я сам тебе их кину?

— Ты настоящий кореш, Цукер, — сделал на морде вид облегчения Лёвка. — Давай по-быстрому. Извиняй, что немножко вышел из себя. Понимаешь, если рассчитываешь на деньги, а вместо них тебе суют какое-то зелёное говно, бля буду, можно брякнуть и не такое.

Когда Цукер вернулся до Антиквара, тот встретил его в своем обычном меланхоличном настроении.

— Тут такое дело, Максимов, — замялся Цукер. — Нельзя ли вместо этих долларов получить рублями?

— Конечно, можно, — чуть оживился Антиквар. — Хотя скажу честно, Сахаров, мне это не очень выгодно. Наш рубль каждый день крепчает, а разве вы не знаете за паники на валютных биржах по поводу постоянного падения курса доллара? Но вы меня пригласили в долю, поэтому я отвечу благодарностью.

— Спасибо, Максимов, — церемонно наклонил быстро седеющую голову Колька, пряча настоящие деньги за пазуху. — А всё-таки клевая была бимба...

— Почему была? Главное, она в надежных руках. И великое произведение искусства не пропадёт для человечества, — заметил Антиквар. — Но какой именно

это был мастер... Может, потом там о нём и монография выйдет, кто знает.

— Вы тоже великий ювелир, Максимов. Заклеить такую бимбу в свинцовое грузило — это надо иметь золотые руки, — польстил на прощание Антиквару Колька.

Цукер пилил домой, размышляя над хорошим кушем и невольно сбиваясь на мысли о своём хроническом заболевании ниже пояса. Он прошёл мимо бывшего кабаре «Дом актёра», который стал кинотеатром имени Котовского и не торопясь поднимался по широкой мраморной лестнице, стараясь не попасть ногами до свежих кошачьих кучек.

Возле двери Цукера околачивался пенсионер-редактор, перебирая ногами, как конь — то ли от нетерпения увидеть Цукера, а может и по другому желанию.

— Я всё выяснил, — сделал умные глаза на морде пенсионер. — Это великое произведение, оказывается, делалось в мастерской Фаберже. Так мне сказал один знакомый профессор, доктор искусствоведения, кстати, ведущий специалист в области реставрационных работ. То же самое подтвердил известный академик.

— Тут такое дело, — заметил пенсионеру Цукер, заодно разрывая чёрно-белую фотографию. — Этот гроб я обменял на облигации трёхпроцентного займа Чтобы обеспечить свою старость. Только вы, пожалуйста, об этом, никому Знаете, столько завистливых людей....

— Конечно, конечно, — успокоил Кольку сосед, мысленно желая, чтобы Цукер обнищал до предела, и тут же скороговоркой добавил:

— Одолжите двадцать рублей...

Цукер молча протянул ему два червонца, и бывший идеологический вредитель вылетел из хаты соседа, чтобы продолжать писать отклики трудящихся на

великое произведение изобразительного искусства «Два Ильича».

«Интересно, добавит ли жизни этот гроб своему новому хозяину?» — почему-то подумал Цукер, после того, как подсчитал, что одна эта операция заменила ему несколько лет беспокойной трамвайной жизни. Цукер по привычке глотнул каких-то пилюль, и может быть, поэтому даже не смеялся над очередной дурью, что несла радиоточка. Незаметно для самого себя он уснул под лёгкую музыку вперемешку с сообщениями за эту счастливую жизнь, среди которой Кольке выпала шара родиться.

Ровно в шесть часов утра из радиоточки раздался рев гимна «Союз нерушимый...». Цукер подскочил, больно ударившись головой о ночник и нервно выкрикнул:

— Какого хрена?

И с ожесточением вырвал оставшиеся годы у несчастной радиоточки. А потом вдруг заметил кое-какие перемены на своём организме и врубился. Брежнев это таки-да великий доктор. Дрогнувшей исключительно от счастья рукой. Цукер подтащил до с одежду и, не завтракая, побежал проверять трудовые навыки и правильность жизненного выбора к ближайшей трамвайной остановке.

notes

Примечания

1

цукер — красивый

2

бан — вокзал

З

щипач — вор-карманник

4

ШМОН — ОБЫСК

5

ширма — предмет, прикрывающий руку вора во время карманной кражи

6

трамвайщик — напарник карманника, которому передаётся «улов»

7

шмель — бумажник

8

фраер — человек, не относящийся к уголовной среде

9

расписать — разрезать (карман, сумку и т.д.) и украсть; не путать с пописать — резать лицо или руки противника с целью его унижения, мести

10

моечка — остро отточенное лезвие, «орудие производства» у вора-карманника. Зачастую моечка делается из монеты, реже в виде запонок, перстня

11

вторик — внутренний карман

12

верхний потолок — нагрудный карман

13

дурка — сумка

лопатник— см. шмель

15

кань — порошок из канифоли

16

цырлы — пальцы

17

гезель — ученик вора

18

бланке — карман

19

башмала (бабки, капуста, лавэ) — деньги

20

брус шпановый — подающий надежды вор

21

лох — бестолковый; потенциальная жертва
мошенничества, грабежа

22

лабать — играть

23

лажать — портить

24

ШТЫМП — человек, урод

25

гоп-стоп — грабеж

запустить слоника — действия некоторых дам, которые, подрабатывая минетом, попутно чистят карманы клиентов (минет — орогенитальный контакт)

27

соска — женщина, совершающая орогенитальный
контакт

ксива — удостоверение, письмо, записка

29

бажбан — дурак

30

гальюн — туалет

31

кишеня — карман, запазуха

жмур — покойник

Стихи доктора исторических наук Л.Вершинина

34

хавало — рот

вафлистка— см. соска

36

шрифт — глаз

поц — характерный пример заимствованного слова, которое в русском языке, потеряв свое первоначальное значение — половой член — почему-то превратилось в нецензурное. Означает «дурак» и его многочисленные синонимы. Это не единственное еврейское слово, которое пришло из мира Молдаванки в международную блатную и, чего там, советскую повседневную лексику. Яркие примеры этого — выражения «шмон», «ксива», хипес». Иногда произношение некоторых слов немного изменялось в силу того, что человек не всегда правильно выговаривал слова, перенесенные механически из чужого языка, но их смысл оставался прежним. Почему место сборища или ночевки блатных называется «малина», а не земляника или клубника? Откуда у полицейских и их осведомителей, а затем у милиционеров и стукачей появилось прозвище «мусор»? Помните, старинный блатной шлягер «... на Лиговке вчера, последнюю малину накрыли мусора». Заметьте — на питерской Лиговке, а не на Молдаванке, которая первоначально произносила малину «мэлюна» (место ночлега), а мусор — «мойсер» (доносчик). К слову сказать, взятое из того же языка евреев слово хохма означает дословно мудрость, но получило значение «шутка» и в дальнейшем расшифровывать его автор не будет

рыжьё, рыжий — золото

фуфло, фуфель — подделка, дрянь

40

гембель — забота, хлопоты, неприятность

41

балдометр (конец, болт, перец) — член

бимба — золотое изделие

43

лепетутник — маклёр

шибеник — висельник

45

цавар — шея

46

фиш — рыба

гоныф — бандит

48

ацирут — запор

49

рош — голова

50

смур — грусть

51

канкант отмочить — устроить номер, совершить что-то из ряда вон выходящее

максать — платить

СМИТТЕ — МУСОР

менжеваться — пугаться

разнуздать звякало — развязать язык, открыть рот

56

зуб за два шнифта — стукач

борзо — нагло

КОСЯКИ КИДАТЬ — СЛЕДИТЬ, ВЫНЮХИВАТЬ

59

загалчиться — выйти из терпения

60

кнацать буркалами — моргать глазами

61

трюмить — уродовать, убивать

62

дать пачек — избить

фудало — плохой человек

64

сурло — морда

65

зажать очко— см. менжеваться

66

линять — бежать

бейцалы — мошонка

гнилой заход — хитрый подход, неудавшиеся действия в разведке

Валиховский переулок — одесский синоним морга

70

участок номер три — кладбище

71

хавать — есть; понимать

72

кожура — кобура

волына — оружие

74

ПОТЯНУТЬ ЛОКШ — НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО

75

шлифовать уши — врать

76

ливероваться — скрываться

залепуха — вранье

ботанику читать — заниматься нотациями

79

хабло — нахал

абортник — конокрад

81

гешефт — сделка, дело

балабуз — хозяин

шнобель — нос

цикавый — интересный

Говыдло — дешевая вещь, дерьмо

глухой форшмак — большой позор для делового

коцаный — приметный, вылитый

лярва — предатель, дешёвка, дурачок, проститутка

медвежатник — взломщик сейфов

90

барыга — скупщик краденого

91

бочага, бимбар — часы

не Фонтан — типичный одессизм. В давние времена Одесса, как и сегодня, испытывала нехватку в питьевой воде, биндюжники возили воду по дворам в бочках. Самой лучшей считалась вода с Фонтана (название одного из районов города). Иногда биндюжники набирали воду в других местах, но тем не менее громко рекламировали на всю улицу «Кому фонтанская водичка?». Горожане, пробуя предложенный товар, замечали мистификацию и говорили: «Нет, это не Фонтан». С тех пор словосочетание «Не Фонтан» вышло за пределы Одессы как синоним подделки, некачественного товара, а питьевая вода в городе стала ещё хуже того самого «Не Фонтана»

мацать — трогать, хватать, щупать

гагара — одинокая женщина

блядь — женщина, ведущая беспорядочную половую жизнь совершенно бесплатно

колеса — обувь; таблетки, в больших дозах
заменяющие наркотики

выставить — обворовать, нажиться

снежок — кокаин

99

шнифер — взломщик

100

бригада — (здесь) шайка, банда

101

клёвый — степень восхищения: прекрасный, чудесный, замечательный и т.д.

102

шабер — нож

103

кадухис на живот — смерть

швайка — стилет, тонкий кинжал

105

шпаер — револьвер

держатъ мазу — защищать кого-либо или чьи-либо интересы

107

шмара — женщина

108

купол — голова

109

марафет — наркотик

110

фуцын бараный — дебил опущенный

111

халамидник — оборванец, бездельник

112

до сраки кари очи — выражение абсолютного безразличия

113

фараон — полицейский

114

мочить — убивать

115

падло — мертвая собака, падаль

116

кичман — тюрьма

117

локшануться — ошибиться

118

краснопёрый — мент, чекист

119

бибируса — свинья

120

нычка — убежище

121

жирный — богатый

122

разгон — ограбление с сочетанием мошеннических действий, когда урки выдают себя за работников милиции

123

ловить белочку — допитья до белой горячки

124

синяк (бухарик, ханыга) — алкоголик

125

божий одуванчик — пожилой человек

126

конёвый — пользующийся авторитетом в
определённой среде

127

блямба — синяк, вещь

писюк — ребенок, старающийся вести себя, как взрослый человек

129

махан — колбаса из конины

130

цинковать — следить, видеть

131

ша — молчать, прекратить, внимание

чувырло — человек, с отталкивающей внешностью

133

фраер захарчѣванный — фраер, пытающийся
прокапать за блатного

134

шельма — шинель

135

хлюзд — трус

136

маргаритка — пассивный гомосексуалист

137

гарнир хавать — есть собственный или чужой кал из унитаза

138

галить — тошнить, рвать

139

падло батистовое — очень плохой человек

140

варганку крутить — выдавать себя за блатного, но не быть им

141

очко — карточная игра; задний проход

парашник — отступивший от тюремных законов по незнанию, на ранг выше «петуха»

143

балалайка — женщина, умеющая собственноручно обходиться без мужчины

144

есик — гомосексуалист

145

плашкет — малолетний гомосексуалист

146

мантулить — избивать

147

прикол на наколку — натравить друг на друга

148

клоуна делать (козлиную, резиновую мордочку) —
избивать, уродовать лицо

149

кены — счёты

150

козёл (опущенный, петух, вафлист, пробитый и т.д.) — низший ранг в тюремной иерархии, самое страшное оскорбление для уголовника

151

парафинить — позорить, делать из человека опущенного

гиль — восстание, мятежно настроенная группа людей

153

сдать рога в каптерку — прекратить разговор,
действия

фуцан щекотнулся — лох почувствовал неладное

155

буль — зад

харить — трахнуть. Яркий пример замены нецензурного слова на жаргонное, хотя в других языках если слово существует, оно имеет право произноситься в любом контексте. Например, ежедневно несущееся с телеэкранов английское «фак» дословно переводится синонимом слова «трахнуть». Тем самым словом, которое все умеют произносить, но не рискуют писать.

157

духовка— см. очко

локаторы — уши

160

короед — ребенок

161

держатъ стойку — выпендриваться, стоять на своем

162

доктора делать — ограбить при помощи
мошеннических действий

163

кент — лицо, соблюдающее воровские законы

164

табанить — тормозить